

Никита ОРЛОВ

Никита Орлов родился в Москве, окончил МГУ, кандидат ф.-м. наук. Работал в МГУ, Национальном Институте Здоровья (США), частных компаниях. С 2003 года живет в Балтиморе. Публиковался в академических научных изданиях, в журнале «Урал».

ГРЁЗЫ О ФИГОВОМ САДЕ И ПРОЧИЕ ИСТОРИИ

*В том старом саду растёт странное древо,
И имя ему фиг.
Капризен и нежен плод его, и к сластолюбию
Влечет нектар его.
Всё вокруг и рядом тайны и простой, и колдовской
Шли мы и брели мы.
В нескончаемого дня грёзах жизнь свою
Проводили мы.*

Как было

Жарким летним днем я со своей знакомой гуляли у Залива. Лёгкий бриз с воды приятно колыхал воздух, пели цикады, и всё было превосходно, просто замечательно. Ничего необычного не происходило, ну да что там, чего ждать летним днём пополудни. Разве что воробей вдруг взял и в Залив нырнул с перепугу. А мы нет, не ныряли, не купались, просто у воды прохаживались, могут люди при свете дня побродить для собственного удовольствия.

Какой же он был, тот день? Обычный себе день, жаркий, как сказано.

И всё-таки что-то случилось. У меня оторвалась голова. В сущности ерунда, мало ли. Главное, что буквально сразу после приключился Конец света. Да. Простите великодушно, не удержался. Шучу я так, а шуток моих не понимают. Нет-нет, не было ничего такого эдакого или экстраординарного. Просто во время прогулки мы набрали на фиговый сад, и там было чему удивляться.

И всё началось именно там и тогда, так я думал. Но там – это, собственно, где? И когда это самое тогда? Объяснения нужны всё же. Так что обо всём по порядку.

Рассказ о случившейся истории

- Хорошо у вас тут! Качель, садик, беседка. Солнце клонится.
- Что ж, вы б наезжали почаще.
- Благодарствуйте. Птички поют по утрам, наверное.
- А вот не поют, подевались куда-то. Разве филин-злодей переловил или в пруд все переселились, не знаю.
- В пруд? Гм, знаете ли... А вот я лучше вам расскажу о моём приключении. История удивительная и невероятная. Может, и с рыбками что прояснится.
- А! Вы попали в историю?
- В сказочную, заметьте, в сказочную историю. Притом попал-то не только я один, а с особой...
- О! Замешана незнакомка.

- ...которую вы, уверяю, хорошо знаете.
- Как, с кем? Говорите же!
- А скажу, с вами, вы ведь не поверите. Сами же и смеяться станете ещё.
- Шутите, всё вы шутите! Что ваш рассказ, о чем?
- В общих словах, о Саде. Но важно другое... Вот, Время. Казалось бы, один день...
- О саде? Странно... со мной ни в каком саду давно уж ничего не приключалось, хорошо ли, плохо ли.
- Вот как. А знаете, вы правы. Я своё приключение, пожалуй, лучше покажу.
- Да что вы! Покажете? А как это?
- Очень даже просто. Пожалуйста, вот вам калейдоскоп, мастер иллюзий. Прошу вас, вот сюда извольте посмотреть... Вы, вообще-то, как к югу относитесь?
- К югу, говорите? Как странно. У меня с югом многое связано!.. Пойдите, что здесь у вас?... тут жуки и цикады какие-то... а теперь будто бы звёзды на небе... А где сад ваш, не пойму?
- Будет и Сад вам, терпение! Итак...

Итак, юг. Так, минутку: а почему юг? Ну, во-первых, так хочется. А во-вторых, нам по сюжету требуется волшебство – а оно обыкновенно случается именно там, на юге: абсолютно всё волшебство – за исключением, конечно, северного. Только северное волшебство это совсем другая история.

Ну хорошо. Ну юг, если так хочется. Допустим. А что, собственно, юг? Что он даст, отпуск? Да что вы, причем тут юг. Отпуск человеку гарантирует... ну не знаю, конституция. Если она, конечно, добрая и гуманная, или выставиться таковой желает. Про конституцию это в шутку, конечно. Сначала всё же отпуск, потом уже юг. Или север, если хочется. И вообще-то, не в отпуске дело. Тут ведь что... Юг дает свободу. Из раба и подёнщика человек превращается в личность. У него открываются глаза. Заводится вдруг достоинство. Человек обретает гордость, задумывается о человеческих ценностях, о естественных правах. Вспоминает, что молод, осознает, что хочет быть счастлив. У него появляются мечты. Юг открывает всё объёмное пространство для живущего на плоском листе. Кто-то скажет, что человек отрывается, от копошения среди мелочности и сора он вступает на Олимп и говорит теперь с равными по духу... Даже и так, это несущественно, это мелочь. Важно другое, человек делает отметку на своей жизни и прощается с собой прежним. Юг, понимаете, его дары.

Вы слушайте, слушайте.

Рассказ о южных запахах, доводящих до ручки

Милый сердцу, благословенный юг! Восторг, нелепый восторг наполняет наивную северную душу. И хватит, довольно, покончено уже, наконец, с грязью, с распутицей вечной нашей, с хмуростью неба, грубостью начальства, с угнетённостью, межсезонной тоской – их всех мы ладошкой вот эдак напрочь отодвигаем и оставляем столичным городам нашим. Они люди привычные, знают, что с этим всем делать. И вот волшебное южное княжество открывается перед нами.

В воздухе благоухание магнолии, ароматы увядающих трав, можжевеловых смол. Разогретый солнцем в безветренном тихом углу пахнёт куст самшита невозможно, волшебю! На гладком стволе магнолии, или с оборотной стороны лакированного огромного листа обнаружишь цикаду, зелёная треугольная пулька, голова большая,

крохотные бусинки глаз по краям, и крылья длиннее тела. А в степи дикие камни, а в степи полынь, лаванда. Перелетают кобылки, синекрылки, кузнецы с голубыми и розовыми крыльями. Ящерики перебегают с солнца в тень и замирают, сливаясь с песком. Живое движется, недвижно неживое. А ночью в степи небо черно, а звёзды огромные, яркие – и так близко они. И давно, и недавно, тысячи лет назад на них смотрели греки, понимая, что из понятного суетного мира смотрят в вечность. Отчего так, почему как-то вдруг смолкает гам и смех, когда на нас смотрят звёзды? Оттого ли, что вечность и смерть ходят рядом, напоминая о себе лишь в такие минуты. И на смерть доводилось смотреть, и многое повидали греки, многое. Поэтому, наверное, так подолгу смотрят они на звёзды. Кассиопея, Андромеда, Орион, Лирида. Пространство, звёзды и певец. И космос тоже вглядывается в греков, пылливо и со скрытой надеждой. Неизбыточность времени, бескрайность пространства. По этим звёздам в те же примерно времена, плюс-минус, Ясон со своей дружиной вёл в поход легендарный корабль Арго. Через Босфор, через море Понт, и это донесёт нам Гомер. А ещё Гомер откроет, что Арго, последнее слово техники того времени, за тысячи лет до эпохи Умных вещей и Искусственного интеллекта может (если захочет, конечно) общаться с экипажем на приличном древнегреческом. И вполне естественно, члены экипажа отвечают ему соответственно. Вообще, весь экипаж на древнегреческом общается. Конечно, удивительно, многие ли даже сегодня смогут. Впрочем, простите – отвлёкся.

И море, и Гомер... Вдруг морем и дохнуло – ах! Заметьте, Ах этот абсолютно без всякого преувеличения – клянусь вам, провонявшей дёгтем шаландой клянусь. А в воздухе соль и влага, йод и прохлада, в воздухе пряный аромат погибающих водорослей. Все эти божественные компоненты создают его, безумный воздух счастья. Глубже, глубже дышите. Господь всемогущий, да что это! Да тут, считай, одних запахов хватит на воз целый. Хоть набивай их, рассыпывай по мешкам и котомкам, и на рынок в Москву, град-столицу, взять там за них настоящую цену. Всё, милый мой, всё до самой распоследней понюшки разберут, и притом ещё приставать, и за локоть хватать, и выпрашивать будут, когда, дескать, другой завоз ожидается. А и без того сказать, ароматов здешних уж настолько в избытке имеется, что наверняка довольно, чтоб сбить с толку, закружить голову, растревожить и заморочить вконец даже самого спокойного и рассудительного человека. Скажу больше, ароматы южных краёв способны вовсе до дурки довести при известных обстоятельствах. И теперь уж, пролети мимо простой, обычный себе зелёный майский жук со своим гудением, столичный рассудительный человек перестает быть и столичным, и рассудительным, самим собой, то есть. И губами безрассудными лепечет одурело: «Вот жук», и шурит подслеповато глаза, и умильно глядит вослед, и расплывается в улыбке – нелепой, бессмысленной, неуместной. Да и вправду посмотреть, обычные с виду люди вокруг, и одеты себе прилично, а наблюдать вот, ей-ей, чудно до невозможности. Все бродят по улице сами не свои, и лыбятся ошалело, и друг с другом такие вежливые, такие обходительные. Только диву даёшься, какой же дрянной малости надо, чтоб так растрогать столичного человека, верно, в столице у них с жуками прямо беда.

Рассказ о жизни, судьбе, отпуске и счастье

Человеку даётся жизнь, так заведено. Зачем, если подумать, на что ему? Делать-то с ней что будет? А он что, он ничего. Будет её жить, как умеет. И ткёт он из своей каждодневной жизни себе ткань судьбы на всю свою непутёвую жизнь. Сам же ведь, только сам, своими руками, уж какие есть. Всё сам, и что дальше? А уж дальше он делается рабом своей собственной судьбы. Рабом! Вот оно как поворачивается. Почему,

как так, да всё потому. Слаб человек, а ещё наивен и благодушен. А судьба сурова, такова жизнь.

Ну, а как ты, голубчик, хотел, чтоб сам-один управлялся? Нет, так оно не пойдет. Ты, милый, послужи-ка рабом пока, вот что. Поначалу, конечно, нелегко придётся, а потом, потихоньку, Бог даст, втянешься, попривыкнешь. Ничего, ничего – другие как-то тянут, не жалуются. Поглядите, как стелет судьба: и ласково, и жалеючи. Ну, и что ж тут, делать нечего. И так-то вот человек живёт: ходит на службу, устаёт. Идёт домой, устаёт больше, падает в кровать, и так день за днём. И движется он по своей жизни, как машина: вперёд, назад, туда, сюда. Почему, зачем? А не знает он другого распорядка, и не знает, живёт ли вовсе. А время всё идёт, и отрезает оно лопотом за лопотом от жизни, вашей, заметьте, жизни. Следуете мысли?

А тут перемена. Создатель наш, какая перемена! Море, горы, базар, другой народ, иной говор. Всё живое, настоящее. Ошеломляющее. И обступает оно, и притискивает человека, и загоняет его в угол. И пришёптывает это ошеломляющее, и покрикивает, да где он там, наш любезный, в каком-таким уголке схоронился? Сюда, сюда мне его тащите! И мечется ваше сознание, и уже готово на крайности. И каплей последней самой вдруг окажется, ну что угодно, хоть и обыкновенный, самый что ни на есть заурядный, уж простите, жук, повстречавшийся на улице. Ну вот, жук и жук. И, хотя вид его может на иной вкус показаться провинциальным, что ли, а попривыкнешь, так и вполне себе ничего. Представительный, да что там, симпатичный прямо, усы антеннами, спинка чёрная на солнышке поблёскивает. И бежит он себе, бежит вперевалочку по парапету на набережной, эдакий симпатяга, приезжему человеку ну просто глаз радует. Бежать что, он и полетать для вас вполне себе готов. Кругами, там, или же с фигурами, форсаж, свеча, бочка, вверх брюхом, всё такое, если, конечно, спросить хорошо, по-доброму, без эдакой, знаете, усмешки или фамильярности столичной. И вот уже поглядите-ка! И народ вокруг собрался, и вскрикивают, и смеются, и ободряют, и по плечу хлопают, и руку жмут, и жуку-асу, и друг другу, да и вам заодно отчего-то. А жук наш при этом ещё и фырчит, и фордыбачит, и плечами поддёргивает, мол, и что тут такого, и вообще дело-то плёвое, и не такое проделывал, когда был помоложе.

Кажется, ерунда, вздор, и что вам жучишко этот. Ну, встретились, разговорились, может, и угостит он вас кружечкой шипучего. Что с того, беды тут большой нет. Но такого он порасскажет, да так вам глаза откроет, и в таком-то свете выставит, что всё уж, довольно! Держите меня, держите всемером – нет, семерых мало, ещё зовите. Теперь-то я всё про жизнь, наконец, понимаю. И плевать хотел я, пускай! И будь себе жук и болтун, и трепач. И приврать, бестия, любит. И за воротник, известное дело, закладывает. И в картишки, шельмец, передёргивает, и в бильярд с шарами шуры-муры, да и вообще на руку не то, чтоб чист, как белый лист. И по женской части и ай-ай, и ой-ой, и мама не горюй. И неразборчив, и в быту, и уж милиция его хорошо знает... Пусть себе, и делов-то, и что за важности такие!

И тут раздаётся сверху эдакий лёгкий Дзинь, причем не просто какой-то там «дзинь», а совершенно особенный, который и фокус может реально сдвинуть, если дойдёт до того. И чудится человеку, вот стоит дом, и прямо над подъездом балкончик, с которого и море видать – ну, понятное дело, как листья с каштана облетят, не сейчас ещё. И вот уж он сам собою, со своим кофием на балконе этом стоит в халате домашнем, гордо и прямо, что тебе Цицерон, римский консул. А вот под балконом, в десяти шагах прямо, торгуют привозным пивом, разливают по кружкам всем страждущим. А вон кто-то машет рукой – кому б вы думали? – ему и машет, и орёт взаправду, аж в ухе закладывает, дуй, дескать, скорей, пиво ж не вечное, кончается уже. И вот уж сам он, бросив кофий опротивевший, бежит, как был, прямо в тапках спадающих бежит, спешит туда, где люди, друзья, счастье. А какие ж у нас, скажу вам, люди! Замечательные,

золотые они у нас, и таких больше нигде не сыщешь. И все мы идём уже по улице, и от полноты души песнь гордую поём во всю грудь, не тая ничего и не скрывая, а милиционер смотрит строго потому, что работа такая, а так-то он тоже добрый малый. Да уж. И чего не причудится, когда без панамы, а солнце в голову. Тут какой хочешь Дзинь может хоть с кем произойти, и просто очень.

Время всё бежало и несло – вперёд, вперёд. А тут приостановилось, задумалось. И правда, самое время задуматься, есть о чём. Вот, тапочки. Стоп, какие тапочки? Ну как же, в которых и по лестнице скачками неслись, и по городу гуляли, и песни пели, теперь вспомнили? Так вот, пострадали тапки-то, и притом безо всякой своей вины. Милиционер сказал, что снял кто-то один с ноги тапок и кинул в него, а попал же в фонтан. И он, милиционер, лично нырял два раза, в первый раз для спасения бедолаги, потом и ещё для успокоения совести. И после дополнительно всем наказал нырять по очереди, да только напрасно, утопленный, увы, не сыскался. И остался от тапка одинокий собрат, грустный, потерянный, потрясённый. Взяли его, посмотрели строго, внимательно, покумекали, повздыхали, пожалели. А после прихватили за микитки, да и вышвырнули напрочь. Для его же, тапка, собственного блага, чтоб не затосковал от одиночества. Такая вот печальная история приключилась однажды в далёком южном городке, где распрекрасные люди, мягкий климат, море внизу под горой и каштан у самого балкона.

Хорошо, и что дальше-то? А дальше некуда, всё, конец. Приходят рука в руку осознание, и диссонанс, и кризис. Погиб-пропал человек, и уже повернулось всё в прозревшей его голове непоправимо. Вот, мол, она, жизнь настоящая. И зачем я не жил, и столичная служба моя пусть теперь убирается хоть к чёрту самому, хоть к его бесчестной матари. И вместо прежних своих положения и устройства, постылых теперь, видится человеку, что и его личное, своё, родное, персональное счастье возможно. И придёт-явится сей же час и возложит с ласкою и отрадой свою прохладную длань на разгорячённое чело его. Полюбуйтесь, люди добрые, на изломы и неожиданные перевороты судьбы. До чего может довести обыкновенного городского человека такое зауряднейшее событие, как отпуск на море. Ну, что там у нас происходит со временем. Идёт себе, верно, опять, всё вперед, нет на него управы.

Юг, он и насмешник, он и фокусник, он и волшебник. Что бы ни произошло здесь, обретает со временем ностальгический ореол. На фото отдыхающий у фонтана в одном тапке. Это случилось на юге, помнишь? А случиться-то может всякое. Я имею в виду всякое. Да взять хотя бы рынок для примеру.

Рассказ непонятно о чём. Рыночные разговоры, рыночные отношения

Один совсем, но другим невидимое вижу... В пустыне под солнцем неземным в тусклом мареве города стоят с пальмами косматыми на фоне стен белых... Воды прохладной фонтаны, и ветер несёт с них влагу на лица опалённые... Храмы и дороги из камня, римлянами построенные на века вперёд, что в землю опустятся и сгинут там безвестно. И один на всём свете, один...

– Инжир! инжи-и-ир! Спелай, сладкой! Пробуем, покупаем, с собой забираем!

Маленький южный базарчик, куда бездумно забрёл я, придавлен жарой и ленью. Пусто, покупателей нет, да и день перевалил за середину. Продавщица, хипповатая старушка в бейсболке с немислимым козырьком представила на суд миру, чем нашлась к бархатному сезону: низкие корзины с инжиром, сливой и абрикосом, всё почти что

спелое. «Почти» это потому, что спелое нельзя, совсем нельзя. Инжир особенно: потечёт, ос приманит, будет липкое всё, понятно, что за катавасия, и кому оно надо. Покупатель же, знамо дело, не пришёл, ему что, делать нечего, по жаре таскаться. На печальный случай такой понанесено ещё варенья и джемов в малюсеньких, в маленьких и не очень маленьких, и даже во вполне себе приличных банках. Этикеток как таковых нет, просто взяла и наклеила бумажку. Подписала. Просто рукой, но разборчиво, чтоб кто купил не перепутал, что за варенье, какого года урожай, а то мало ли. Что ещё тут у нас? Да так, хрень какая-то. Маска для ныряния, вдруг захочется кому-то. Другие необходимые вещи, как-то: маленькие гвоздики, шурупы и верёвочки для хозяйства, молоточек, старенький правда, но вполне ещё себе ничего, просто отвёртка, ну и по мелочи ерунда. Заметим, что кричит бейсболка только инжир, и это правильно, конечно. Распыляться ни к чему, а отвёртку и гвоздики, кому надо, сам увидит.

На базаре, там что, вроде как игра. Продавец отдаёт, ты будто берёшь, но передумал, ушёл, вернулся доспросить, и в таком вот духе, туда-сюда. Беру баночку джема, читаю название, получается навроде «э-э... принцы, девичье счастье...». Гм... Нет, явно путаю что-то. Читаю другую банку, «э-э... дуб, на нем Эйнштейн»: простите?.. Дальше идём: «Нехорошие предчувствия...» – потом мелко и неразборчиво, но уже видно, странное и непонятное. Вообще бред. Либо старушка для своего повидла названия изобретала очень уж вдумчиво, либо... теряюсь в догадках. Сомнения начали стучать в ворота, робко для начала, мол, мы люди не местные, увидели огонёк. Как так, что вообще получается? Ну, не может торговка, в самом деле, целого Эйнштейна в баночку упаковать с дубом вместе, да ещё запротokolировать свой успех на этикетке. Или... может? И что там с девичьим счастьем? Всем табором с своим барахлом, арбами и походными шатрами, с гомоном, бубнами и семиструнными гитарами сомнения деловито вползали в заднюю дверь и шептали, и бормотали, и гудели в самое нутро всё настойчивее, ну вот возьмешь, дуралей, девичье счастье себе на потеху, а что люди скажут. И поосторожней всё ж, вдруг смотрит кто... Тьфу, тьфу, ерунда.

– Брать-то будете? Аль те помочь найти что?

– Да вы знаете, странновато здесь у вас. Выбор больно чудной. Чумовой, сказал бы.

– Ай да взял бы что себе. По молодости всё хорошо будет. Аль Иштейну возьмите, аль цикаду. А то бери счастья девкиного, молодого, и оно сгодится тож.

Эх, старуха, до чего въедлива. Прошло время твоё, чужое мыкаешь.

– Да вот, не подходит мне ничто из этого, извините. Даже неловко как-то.

– А не хошь, так и не берите. Только всё одно они к вам сегодня явятся. Все придут, все припожалуют. И цикада, и принц, и счастье девичье, хоть сам и боишься его, вижу.

Чудно, чудно. Какой-то здесь, на рыночке этом, дух витает былинный, необычный. И банки, и джемы её эти все какие-то неясные, и мурашки забегали по коже. Вниз бегут, добежали, и обратно наверх. Ну её. Прочь, бейсболка, прочь, старушка. Дальше, дальше. Что у нас тут?

А рядом дедок, серьга в ухе, чёрный платок на пиратский манер. Удивительно, от бейсболки к пирату перехожу и будто перескакиваю в какое-то небытие. Пересекаю меридиан невозврата. Дивно, дивно – а может, кажется. Вот старушка, понятное дело, относится к югу и к базару, а пират, он куда относится. «Инспектор будто», вдруг повисло, закачалось над пыльной рыночной площадкой. Застоявшийся дух времён колыхался в воздухе, а ветерок закручивал вялую спираль вместе с сухими листками. Между тем пират в бизнесе явно не новичок. Уговаривает, суёт в руки товар, чудные колокольчики и трубочки с магическим стеклом для наблюдения волшебных иллюзий.

Вы, вообще, представить можете? И где, боюсь вообразить, понабрался приятель своего добра.

– В трубочку смотрите вот сюда, пожалуйста, да нет, дайте сам покажу. А колёсико это, нет-нет, его трогать совсем не нужно. Да не стойте лапшой, держите рукой своей, держите же!

Удивительный напор, скажу вам...

– Нет-нет, спасибо, право, не стоит! – это я ему как бы. – Говорю, не утруждайтесь...

Ах, ты, Господи, да что уже с ним делать прикажете? Сказать откровенно, ни пират, ни инвентарь его опрятностью не впечатляют, ну совсем. Да и дух от всего прямо такой, ну да что вы, собственно, хотите. Но по ходу событий нечто необычное и странное непостижимым образом оказывается в моих руках. Ну вот, ввязался. Эх, ввязался я, прости мя... Похоже, вступаю в рыночные отношения.

– Калейдоскоп, сэр! – взревел пират безумным голосом пиратского попугая. – Показывает ход времён и ваше будущее. Прошу вас, сэр! У нас без обману.

Значит, калейдоскоп. В стеклянной трубочке, начинённой иллюзиями, оно, моё будущее, и проживает. Дико на первый взгляд, но вообще-то, да, бывает, и притом, даже чаще, чем может показаться. Всегда, кстати, интересовался: как калейдоскоп этот внутри устроен. Гм, вроде ничего не звенит... а может, и не должно звенеть... Или всё-таки должно?

– Сэр! Умоляю, прошу внимательнее с аппаратом, прибор тонкой настройки. Вы удивитесь, сэр, как много от него будет зависеть. В том числе для вас лично, сэр. Хотя, что я: расколете, непременно разобьёте, уж знаю наверное... Нет-нет, сэр, это я сам себе, не обращайтесь внимания.

Ну да, сам с собой. Понимаю, как не понять. Только к чему, право, вот это всё, и неверие, и пессимизм. Справлюсь уж как-нибудь с твоим аппаратом. Как бы, впрочем, не лопнул он вперед от одного трубного голоса твоего, пиратская душа.

– Вам нужен Тот день, сэр. Совсем небольшой день, но уж вы разглядите, сэр, верьте мне.

Выходит, я должен найти «тот день», прелестно. Удивительно, всё же: как это только старый каналья обо всём, что мне нужно, берется рассуждать, да так смело?

– Сэр, я должен открыть вам: это Весёлая сказка – именно так, сэр. Уже началось, от вас ничего не зависит. Ваша голова, сэр, это другая история. Берегите голову, умоляю вас.

Вот же бред, просто буйство какое-то, прости Господи. Спасибо, учту непременно. Голову берегу всегда, и всем того же советую. Хм... А почему, собственно, сказка? Мне же не пять лет, и не спросили меня... Я, может, предпочел бы поэму, скажем, «Илиада» или «Мертвые души», более торжественно как-то.

– Последнее, сэр: возвращение. Вам придётся приложить усилие, я уверен, вы справитесь, сэр. Но Время, сэр, это главное. Старайтесь не утратить времени. Раз утеряв, не будет вам покоя.

Справлюсь? конечно, безусловно. Собственно, я всегда (ну, почти, не будем считаться) оправдывал ожидания, именно так. Но каков, а? «Время, сэр!» Водит, водит за нос, мерзавец. Меня, образованного, хотя и не глупого, в целом, человека...

– И фиговый сад там же, сэр...

Разумеется, как иначе... Как, что? И вошёл мне в сердце пиратский кинжал, и глаз разбойный глянул прямо в душу. И заглянул я в аппарат, и увидел... И случилось здесь вот что.

Калейдоскоп! всё это, представьте только, изумлённому взору моему являет калейдоскоп. А дальше больше. И видятся мне, и чудятся –

И дальняя дорога, и женщины красота роковая;
И сад библейский, чудесами упоённый;
И зелье колдовское, юность трепетную дарящее;
И место тайное, зачарованное, и жизнь постылая, окаянная;
И секир-башка, и молодца головушка кувырком по траве-мураве;
И Света белого конец;
И времени песок утекает бесстрастно, и кончается с моим временем вместе;
И космос холодный, равнодушный;
И чёрный обманый цыганский глаз, и карты веером;
И на древе-дубе русалки нагие, кои и вовсе голые, и поют они, бережат душу, и завлекают в свой омут бездонный, что высоко в дубовых ветвях вознёсся.

И не знаю, бросить ли трубку-калейдоскоп и ступать прочь, покуда цел, или глядеть дальше. И хочу бросить, а не могу, и всё вижу день жаркий и дорогу дальнюю. И изготовились уж они, и ждут меня, не уходят. И глядят, глядят...

Посмотрим же дале, друзья, и мы теперь.

Рассказ о дальней дороге, девичьих мечтах и принцах, рыбаках и рыбацких усах

Какое начало у сказки, спросит кто-то. А какое угодно. Я совсем не шучу. Скажем, «О, милый юг!», или «И в том саду растёт...», знакомо, правда? А! О! Вот оно, слышен зовущий трубный звук. Началось. Всё уже началось, прав был пират, кругом прав. И нет в этом ничего такого, бывает и пират прав, и попугай его даже, если таковой, конечно, у пирата имеется. Ну так вот, раз началось, продолжаем.

Дальняя дорога уготовляется судьбой, каждому своя. Эта дорога тянулась вдоль Залива. Длинна, как жизнь черепахи, воистину нескончаема, указывала она путнику, что надежды нет, что он движется круг за кругом, и что одолеть её, дорогу, не имея в запасе вечности, никак не можно, тем более в этот раскалённый изнурительный день, когда сами ноги будто прилепляются к горячему асфальту. Кто бы ни был ниспославший этот день и эту дорогу, сделал это, должно быть, в наставление и назидание. И пускай цель виделась благородной и, может статься, даже необходимой, выбранный для усвоения метод казался избыточно суровым.

Кому-то, не мне – и, определено, не в этот день. Все наставления и назидания, замысленные и хитро, и искусно, отлетали от меня, как шелуха прожаренных подсолнечных семечек, и ничего с этим нельзя было поделаться. Другие, совсем другие в тот день были у меня волнения и заботы. Всё вперед и вперед шагал я по дороге вдвоём со спутницей. Видит небо, не о чем мне было больше просить. Жизнь осыпала меня сказочными дарами, обещающе улыбалась, искушала. Сулила нечто огромное,

бесконечно дорогое и невозможное, нечто такое, чего я никак не мог заслуживать, и даже не мог объять неразвитым своим воображением – я знал это так же точно, как тот факт, что сегодня у нас лето. В голове наигрывала мелодия старой немецкой шарманки «O, du lieber Augustin, Alles ist hin!»¹. Беспечная песенка пела о счастье, которое девушке обещает её любовь, понимал я, о чём ещё может быть песенка из музыкального ящика. Сам я по-немецки тогда не знал, и теперь не знаю.

От дороги я не изнурился и от жары не страдал – радовался. Чему? Всему белому свету, дороге, тёплому дню. А главное, был счастлив своей знакомой, которая на протяжении последних недель проделала абсолютно невероятный маршрут, продвинувшись от отчаянной надежды до вполне заслуженной, хотя и не вполне достигнутой, награды. Заполучить эту девушку, даже и просто для прогулки, представлялось мне неслыханной удачей. Однако ей самой знать об этом было необязательно. И шёл я, вздрагивая сердцем и посматривая на подругу. И по сторонам тоже поглядывал – виды попадались прелюбопытные. Некоторые из моих наблюдений, скажу прямо, привели нас к невероятным и сказочным событиям, вскоре последовавшим. Но всему своё время, не так ли?

Припекало. Горячий воздух томился над асфальтом и чуть колыхался, то ли колеблемый бризом с Залива, то ли являя эффект миража над горячим шоссе – картину, безусловно, обманную. Скрытые в ветвях цикады тянули свою монотонную песнь. Приди, приди! – кричали они, взывая к прекрасному цикадному принцу. Цикады не прикрывали томно глаз, чтоб оттенить их густыми ресницами, не обмахивались пленительно веером и не роняли невзначай на пол шёлковой перчатки, не поправляли выбившегося локона и не встряхивали зазывно кудрями, рассыпая их по точёным плечам. Ничего этого они не делали не потому, что не видели смысла, а попросту оттого, что у них ничего такого эдакого не было: ну вот, не было. И действительно, не у всех же есть и веер, и перчатки, и прочие атрибуты молодой особы с самыми серьёзными намерениями. Что же, ведь и у Золушки её замечательно известных маленьких башмачков, тех самых, в которых она поехала на бал, в которых танцевала, в которых убегала впопыхах, пока часы не пробили полночь, из которых один соскочил с её ножки, и который принц приказал примерять на каждую девушку королевства, чтобы отыскать скрывающуюся от него прекрасную незнакомку, – этих-то башмачков у Золушки тоже не было изначально. И кареты на выезд у неё тоже не было, а была, как помните, банальная скучная тыква. Что ж с того. Каждый приспосабливается к своим обстоятельствам и работает с тем, что есть. Нет в этом ничего стыдного или неловкого. Жизнь, она вся такая – всегда, знаете, готова предложить уникальное положение вещей.

Невзирая ни на какие персональные обстоятельства, такие, сякие, эдакие, цикады абсолютно не желали оставаться без суженого – элегантного, загадочного, заморского или привычного своего, хоть какого-никакого принца, непременно уготовленного им судьбою. Ну вот не желали они быть сами по себе, а хотели, чтоб у каждой завёлся свой персональный собственный принц для личного пользования, и кто осудит даму за такой каприз. Из всех женских чар для рекрутирования суженого в их распоряжении был их чарующий голос, другие же инструменты временно отсутствовали в силу вздорных, вполне себе смешных обстоятельств. Цикады обязаны были петь, что и делали, вкладывая в песнь томящуюся девичью душу, всю без остатка. Исключительно для благородной цели, привораживания перспективного принца, заброшенного переменчивой судьбою куда-нибудь неподалёку, на соседний куст или дерево. Их скромный средне-цикадный размер тела мог, вероятно, ввести кого-то в заблуждение.

¹ Старинная австрийская песенка повествует о трагичных событиях в жизни музыканта. «Ах, мой милый Августин, всё пропало». Странно как-то, но кто мог знать?

Но голос, друзья, голос! Скромным голос не был, и обладал изрядною силой. А также красотой и привораживающими чарами, во всяком случае, так полагали сами цикады. Серенаду свою исполняли они вот как: начинали негромко, быстро разгоняясь и расходясь всё сильнее, тянули на самом пределе громкости, прилагая две-три модуляции громкости в каждом куплете, а обрывали совсем неожиданно. В отличие от эффекта миража, дамского обморока, помутнения в глазах и разного прочего оптического обмана, цикады были самые что ни на есть настоящие. Что там лукавые обманщицы на базарах и площадях вокзальных! Честные были наши девицы, с искренним замыслом, а оптическим обманом быть и не могли, и не были. А были они настроены на знойный день, а после пусть придут мягкий вечер и упоительная ночь, при том что уйти на покой цикады планировали никак не ранее нового восхода. У всех, как видим, на тот день были свои планы.

Стояла пора позднего лета южной широты, когда солнце, распалённое в своем гневе и ярости, выжигает всё, что встречает на своем пути. Скорбная, увядающая, с бурными пропадинами стояла трава, когда-то зелёная и живая. Листья на деревьях теряли цвет и свежесть и ссыхалась, сворачиваясь в пожухлые трубки. И много их, ещё зелёных, но мёртвых, попадало под деревья. Увядающая трава и жухнувшие листья источали нежные дурманящие ароматы. В их кончине были изящество и поэзия, и сама смерть казалась чем-то разумующимся и естественным, украшающим элементом жизненного круговорота. А солнце всё жгло и жгло, день за днем, неделя за неделей. Волосы на головах рыбаков, их длинные, цветастые, кое у кого даже и беспечные гавайские рубахи, а также самые рыбацкие усы – всё теряло свой изначальный цвет, выгорая в однообразно-белёсый оттенок. И только цикадам, казалось, благоволило безжалостное солнце. В послеполуденном сонном покое южного дня цикады кричали всё громче, всё настойчивее. Яркий день полыхал над Заливом. Свет, жар и ещё черт его знает что разливалось в воздухе, в ультрамарине южного неба, и пьянило, и дурманило голову. Никто не повстречался нам, никто не шёл ни навстречу, ни впереди, ни позади, словно не было кроме нас никого – ни на этой дороге, ни под хрустальным синим небосводом вокруг огромного океанского Залива. Грёзы, странные грёзы навевали ритм шага, и солнце над головой, и бриз, и неистовствующие цикады.

Рассказ о том, что за поворотом, древнем фиге и валунах ледникового периода

Дорога запетляла меж холмов и небольших персимоновых рощ. Залив скрывался и появлялся вновь, а дуновения бриза доносили его пресно-солёный свежий аромат. С очередного поворота дороги открылся узкий утёс, он вдавался в Залив весьма порядочно. На утёсе уместился небогатый домишко под посевшей крышей, рядом виднелось высокое дерево и сад. Вознесённый на утёсе и окружённый водой, сад, казалось, парил между водой и небом, являя вид и необычный, и притягательный. Весь длинный летний день солнце стояло в небе, и сад был под его лучами. По утрам, когда сонное и неспешное, солнце поднималось из Залива, свет уже касался сада, его восточной стороны. Затем солнце шло через сушу и над утёсом с садом, опаяя их дневным жаром. На закате солнце опускалось в Залив, уже по другую сторону. Тогда его низкие лучи ударяли в стёкла дома, воспаляя оранжевые прожектора, которые затем горели и полыхали десять полных минут, всё то время, пока солнце опрокидывалось в Залив для еженощного заплыва.

Не мы сами обнаружили и сад, и утёс, и восход, и закат, их нам открыла дорога. Она сперва чем-то отвлекла, затем изогнулась, повернув нас в нужную сторону. И лишь потом разрешила, глядите, и мы глядели. И невозможно было не смотреть, явленная

картина и приковывала, и манила к себе. Я пригляделся и увидел настоящий фиговый сад, там копошилась пара пожилых садоводов, совсем уже стариков. Вот они, первые живые обитатели береговой линии, мы приветствуем вас! Спутница улыбалась, словно зная нечто, о чём не догадывался я. Попробуйте угадать, что она сказала. Мы, должно быть, на дороге упоительного сладостолубия, но что, простите, это значит. Это ведь не о нас с ней, ни в коем случае. И не было такого, что это вот так прямо на дорожном указателе изображено. Просто загадка. Как прикажете, не будучи магом или телепатом, понимать женщину.

Небольшие юные деревца сада соседствовали с огромным кустовым деревом, старым фигом, потемневшим от времени, и во все стороны раскинувшим чёрные руки свои. Он забирал себе всё солнце, спасая хозяев от убийственного жара. И так же надменно, как Голиаф над Давидом и всеми прочими, мелкими и недостойными, возвышался старый фиг над остальным садом. Не был по своей природе фиг ни кичлив, ни высокомерен, но велик был в размере своём, и не возвышаться просто не мог – да, правду говоря, и не пытался. Весь участок от дома до дороги занимал сад, и что-то в нём было древнее и величественное, библейское даже. За малым не доходил сад до самой дороги, где громоздились два камня-валуна цвета фиолетовой ночи, таких же, видимо, древних, как и потемнелый фиг. Местами валуны обросли пёстрыми кучками мха и лишайными серо-бурыми пятнами. И были они покрыты не то старинными надписями, не то причудливыми трещинами, и казались мрачны, и вызывали смутную досаду, и чудились неуместным упрёком ясному дню. Когда и как попали сюда камни, не знает никто, а только были они здесь с оных дней, когда отступавший ледник по своей достойной сожаления легкомысленности оторвал их от горного кряжа и в скором времени, намучившись довольно, бросил их полежать покамест у дороги. А может, дорогу потом построили, сейчас спросить не с кого, давно всё было. Своим расположением и волею вещей получились валуны входом в сад. Хозяева не возражали, так с тех пор повелось.

– А у вас на голове как отметина седая, белая, а раньше не припомню её. Вы ранены были?

– Нет-нет. Это, знаете, совсем другое. Пометка Сада.

– Вы не подумайте, вам даже идёт.

– Голову береги, говорил кто-то, гадалка, что ли. И вот вам. Не дослушал, верно.

– Гадалка! Что ж ещё она говорила?

– Да всё то, что всё их племя бормочет. Карты, окаянство всякое. Голова, дескать, оторвётся, и сова закричит зловеще, и ужас ужасный вокруг настанет.

– Как, за что? И пятно это белое...

– Вот! Это что делают они, на страх навести, на сомнение. Я не слушал толком, да и надо ли. Ждём всё откровений высоких, открытий в судьбе своей. Смешные мы...

Вдруг знакомым сделались и сад, и садоводы, сто лет как знакомы. Всё ближе подходили мы, и возились они у растений своих. Сотни лет копаются, чистят, ходят за садом – и сотни лет ходим мы вокруг. Старики. Неторопливы движения их, длинны и худы руки, тела круглы и в фуфайки укутаны, а лето суетное не замечают. Тёплые одеяния им не помеха, и колготки не стесняют, а сами подобны большому насекомому, на солнце по подоконнику ползающим. Но глянет кто на подоконник, решит тогда же

малодушно насекомое, жука ли, таракана ли, тут же и прихлопнуть на месте, уж больно велико уродилось, вдруг что, не ровён час. Так бывает, трагедии случаются, и безвинных тварей убийства, так заведено ли, повелось ли так. И человек, творения вершина, первый и главный убийца на земле, и первым нападает он, и все боятся его, и смерти своей бегут. Как погибели не убояться, ведь кончено всё тогда, и ступаешь в царство воды, уносящей в другие царства, живым не ведомые. А тело, твоим бывшее, уже добыча других тварей, так добывающим пищу свою, и так всё по кругу, по кругу. И разное пропитание у каждой твари, у какой божественно пахучая, самим небом благословленная горячая пицца Маргарита, ароматом, соком своим и быстрой доставкой душу увеселяющая, у другого кусок от ноги усопшего, таракана или цикады, не разобрать, да и что до того, в них ли, тараканах, счастье. Кто обрёл пиццу, кто потерял ногу. Но скоро, легко, незаметно, как развозчик пиццу божественную доставит или курьер документ, перенесётся и убиенный жук в свой насекомый рай, на ту счастливую поляну в цветах на лесной опушке, куда все жуки, без исключений, отправляются, кто днём раньше, кто неделей позже, даже если они в своей земной насекомой жизни где-то как-то и прегрешили невзначай.

Вы оглянитесь вокруг, что за хозяйство развели садоводы, каких только сокровищ не натащили в сад, как сорока в гнездо! Тут и сетки от птиц, назойливых и вороватых, и отражающие шары, и тарелки блестящего металла. Качаясь на ветерке, сверкают, искрятся, позванивают они, беспокоя залётную гостью. Приспособления и забавные секреты для белки, крадущейся уворовать плод. Заманят бедняжку на колесо, что начинает вертеть, всё быстрее и шибче, пока та не ослабнет хват и не отлетит прочь, кляня себя за прожорливость и судьбу свою сиротскую, голодную, горькую. И много есть и других колесиков и лопастей, ветром разгоняемых. Простых, в виде птиц, в стиле техно, с рюшками, в виде сказочных персонажей. Не дают покоя ветряные устройства, создают суету, пугают осторожных воришек в перьях, на пропитание приходящих в сад утром ранним и в сумерки осторожные. Но самый главный изумруд звенящих и сверкающих сокровищ сада это филин, разукрашенный под стать разбойничьему пестрому оперению совиного племени своего. На высокую палку насажен филин, с высоты ему озирать владения свои и от разорения пернатой братией сад охранять. Филин. Почему проник в текст, что поведает, что другие скажут о нём?

Рассказ о пугале садово-огородном, мечтах его, и о том, зачем ему уздечка

Не нов! Вот первое самое, что скажет всякий, глянув на филина: не нов. Ох, как пострадало пугало от времени, от ударов его и ласк, какие перипетии выпадали за время службы во саду ли, в огороде. Вреден, губителен для пластика и резины солнца луч своим ультрафиолетом разрушительным. Страшен ветер с чёрт знает чем носящимся по воздуху, и не мимо, пролётом, и даже не в бровь, как могло бы, если б повезло. Страшны другие погодные явления и напасти. Погода, знаете, не шутит, никогда не шутит, кроме как когда нашло вдруг, дай, да и пошучу, только совсем не шутки ради, а для остротки и в назидание, разумеется. И вот, явлен миру филин сегодня не таков, как, бывало, в расцвете и в младости своей бывал. И красочка местами уж того, и повыщвела, и пооблупилась, и царапины откуда-то понасели, и пятна от сырости, там, где трещин паутина. Но это ещё пустяки, это ничего, так, шутка. Моряк, знаете, не плачет на ветру, а филин – вообще никогда. Но вот ухо. Выломанное, отбитое или оторванное правое ухо беспокоило всерьёз. В чём тут штука, думал филин. Конечно, со шрамами вид мужественный, суровый, сознавал филин, со скромностью сознавал. Но такое дело, отдавал отчёт филин, как ни поверни, на работу нанимали в новом виде. А теперь, а теперь... И ухо ещё, что делать-то будем. При каких обстоятельствах ухо пострадало,

история умалчивает. Вы же понимаете, всё могло быть, что угодно, грехи молодости, неудачное навигирование ночного полёта, кабацкая драка, да мало ли.

Да какие уж там у филина уши, и какое дело, скажете вы, но ошибетесь. Горевал, очень горевал филин по утерянному уху. Стыдился и отворачивал голову набок, чтобы недостаток сокрыть. Хозяева же дефекта то ли не замечали, то ли просто проявляли деликатность. Филин-то сам уверен не был, можно ли на деликатность рассчитывать. Как удивлен был бы он, узнав, что отсутствие уха или затёртые перья на спине никого не волновали. Мелочь, вздор. Держали, ценя верность, смирный нрав и хорошую службу. А дефект... послушайте, ну что мы будем. Косметика, просто тьфу. Что, из-за царапин раскошелиться на новое пугало, не смешите. Трудоустройство филина дело решённое, и филина не беспокоят – ни в отношении уха, ни по какому другому поводу. Насадил на шест и закрыл проблему. Всяк проходящий мимо сада может ежедневно наблюдать филина на посту. К службе филин относится ответственно и в рабочее время со своего шеста практически не отлучается. Вывернув из-за спины голову, отстранённо и скорбно взирает филин на мир своим крашенным недвижимым глазом. Кстати, кроме уха, есть ли ещё о чем скорбеть? А давайте прямо сейчас и глянем.

Сказка обманет, и это не обман. Правда, самая настоящая. Волшебство ведь, а значит, элемент риска, авантюры, обмана. Не знали? Что ж, обман по первому разу и не обман вовсе. Только ведь вас опять проведут, а потом снова, весь жанр этим ремеслом движем. Просто сказку хотели, понимаю. Но дело такое, идёт она с целой коробкой обманов, подарочный набор. Я предупредил, дальше ваше дело.

Ой филин, ты, филин! Пестро перо, остро твоё ухо. Сложна, противоречива, трагична фигура филина. Весь на изломе, одно перо беда, другое беда ещё горше. И образ его лукавый, обманчивый, ускользящий. Что видим мы? Игрушка-статуэтка, скульптура малых форм, изделие из материала на основе каучука, ручным способом изготовлено на крохотной фабрике в неясной стране Дальнего Востока, выпускником худучилища разрисовано краской. За недорого продан, брошен в трюм сухогруза, увезён за океан. А ныне мигрант, чужестранец, посланник иной цивилизации, затерянный в безразличных степях и садах у Залива на далёком континенте. Но даже если ты не оценён по достоинству, значит ли это, что цена тебе грош? Что не так с ними, не бросившими на весы ничего против твоей бесценной души, твоей гордой свободы. Уж не расправит тебе величавых крыл, воспаряя ввысь над горной долиной, где холодный ручей срывается с кручи, с камней, поросших влажной тиной, где на ветру стучит полыми стволами, шепчет и жалуется высокий бамбук, а молочный туман клубится и стелется в долине меж сопок. И влажен воздух, и свеж ветер, и невозможно прекрасен этот край, такой покинутый и далёкий... «Никогда-а-а... никогда-а-а...» – шелестит бриз с Залива. Ни Ког Да! Ни Ког Да! Позванивают под шестом в саду блестящие шары с бубенцами. Завораживающий, чарующий звук родной речи. Глаза филина превращаются в щёлки, он погружён в свои думы.

Играет с птицей судьба, жестоко играет. Волнуется, бунтует горячая кровь. Как быть? Смириться, повинувшись контракту, до конца своих дней служить постыдным чучелом в саду у аборигенов, местных поселенцев, погубив свою юность и мечты свои... Или напротив, бежать и обречь свободу. Укрыться в соседнем саду... в другом ли надёжном месте за триста миль... Но если погоня... И где взять средств перебиться на первое время? Ограбить банк или, скажем, поезд? Нет, нет, какое там! Всё прожекты и мечты – детские притом, глупые и несерьёзные. И где, скажите на милость, откуда взять хорошую лошадь и, допустим, Смит и Вессон сорок пятого калибра, чтобы,

спустившись верхом с крутого кургана на этой самой лошади, на полном скаку нагнать паровоз, перебить охрану и завладеть казной. Увы, увы! Нет у филина ни Смита, ни Вессона, ни лошади, ни уздечки. Нет даже гвоздя, чтоб повесить уздечку. Отчаянное, душераздирающее положение. Как жить, непонятно. И так-то вот существует филин в дисгармонии с собою, не зная, как быть, и мучается уже не год и не два, и поцарапался весь, и краску затер здесь и там. Бескомпромиссный, отважный, на дерзкие, лихие дела рожденный. Ох-ох, друзья, не погубила б его эта самая лихость. А ведь и погубит, и крылья поломает, и славой нехорошей покроет, и в даль далёкую унесет без возврата. Но это всё потом будет, после, не сейчас ещё.

Рассказ о печали в вышине и тайнах Сада

...А мы шли себе и шли размеренным шагом. И приближались вроде бы к Саду, да только отчего-то никак не могли подойти. И глядели неотступно на садоводов с их древностью и неспешной суетой, безнадежным протестом близящегося ухода. Кто они и зачем, что им в саду этом. И странное это чувство, симфония беспорядка, поэзия хаоса. Мой друг, верь мне, хаос и гармония друг друга не уничтожают, но сосуществуют вместе, подобно инь и ян, двум началам, альтернативным сторонам всего сущего. И это естественно. Для жизни, смерти, природы, для этой Вселенной. И если в белом свете есть такая пружина мироздания, то только здесь, и именно здесь силой своей заряжена. Удивлён? А ведь это то самое место, то самое. Что ж садоводы? А их нет, мой друг, нет никаких садоводов. Закрой глаза свои, чтоб не мешали видеть. Старики суть Хранители, и Сада, и миропорядка.

– Вот Путники у вас всё идут и идут и никак никуда не дойдут. Я не понимаю, им что, всю жизнь так шагать?

– Гм... знаете, дойти до цели, какая б ни была, пожалуй, здесь не главное. Пусть бы даже и по кругу ходили.

– Да? А мне кажется, это как раз важно! Сад у самой дороги. Путники его увидели за поворотом, подходят, и что... Где сад, за гору убежал?

– Всё так... Но они и так уже близко, всё там видят и слышат.

– Мне почему-то кажется, вы не совсем договариваете.

– Почему, всё просто тут. Но больше скажу, Сад сам удерживает на расстоянии, допуская к себе выборочно – кого ближе, кого дальше. Путники, к примеру, близко подошли. Пожалуй, слишком даже.

– Ах, сад удерживает... Нет, не понимаю... Получается, зайти в сад им нельзя?

– Полагаю, нет. Да и зачем? Сад, он не совсем сад, и любопытные, и толпы ему ни к чему. Можно сказать, основа безопасности.

– Какие толпы, там двое только!

– Вот видите. Куда больше, так и до беды недалеко. Однако, до беды по-любому недалеко, так получается. Пора нам, пора.

Одинокая виолончель в вышине произвела печаль – печаль узнавания. И открылось, что это тот самый Сад, память о котором жива в нас. Открылось, что видели его прежде, и видели его всегда. И всегда, и вечно мы идём и проходим мимо, под аккомпанемент цикад, изнемогающих от крика, и нельзя, невозможно его достичь. По

кругу, по асфальтовой дороге плывём, как спутники по орбите, а в центре, в таинственном ореоле, мерцает, манит, зовет к себе недостижимый загадочный Сад. Он парит в вышине и осыпает золотую пыль на головы, и где золото пало на волосы, там выжигает белое пятно, и те, помеченные им, теряют покой и ищут Сад на Земле, и ищут его вечно, и не оставляют его в думах своих, никогда, никогда. И палило сверху и дурманило голову, и волнами шли свет и жар, колыша тягучую ирреальность мира. Пора, решил он и, зазвенев ключами, завёл пружину. Шкатулка дрогнула и ожила, издавая мерные однообразные звуки. И возник смысл сущего. Вышло солнце, осветило кусок дороги, сад, и фигурки садоводов, собирающих плоды под резкие, чуть дребезжащие звуки механического клавесина. И так хорош был волшебный ящик, что явил даже двух путников, мирно бредущих своею дорогой мимо шкатулочного сада. И игрушечный филин на шесте вывернул свою игрушечную шею. И два путника этих были мы, и очарованы мы странной мелодией, и всегда должны идти по асфальтовой дороге, всё мимо и мимо сада из музыкального ящика. Вот так, около и рядом, шли и брели мы по кругу близ тайны, смешной, наивной и простой. А как поднять глаза и оглядеться толком, увидели бы мы всё в свете дня, и игрушку забавную эту, и нас самих, в ней пребывающих. Вот была бы потеха, то-то забава, а весело как. И может стать, удалось бы нам познать и самоё Игру эту, что она и зачем – ах, если бы! Только б не мешала вся накопленная усталость. От дороги, жизни, всех правил и запретов, о том, как всё для меня в конце обернулось. От всего, о чём не могу рассказать я. Нельзя, всё нельзя, лежат на нас оковы. Заказано нам и оглядываться, и всматриваться, и размышлять, и сомневаться, да и не приходит в голову ничего этого. А ведь могло бы, но сказки, весёлые сказки, суровы и угрюмы они подчас. Придёт время, задует ветер, будет шторм, и Сад весь побьётся, поломаётся. И Игра, конечно, тогда же закончится, оставив только горстку песка, который заметут куда-то в угол старенькой щеточкой из бамбука. Так в песок всё уйдет. Не был прост Сад, не был понятен, и была тайна. А кучка песка, что ж, очень даже проста и всем понятна. Какие тут тайны.

Рассказ о Лукоморье, зелёном дубе и Эйнштейне

А пока размеренным своим шагом, размышляя об усталости, тайнах Сада, суровостях сказок и несправедных запретах по странной дороге, куда непонятно, продвигались мы, что-то произошло – на меня снизошёл сон. И в самом этом ничего примечательного нет, сны находят на нас то и дело, на этой дороге в особенности. Сон ли во сне был это, сказать не могу. Тоже и в самом сне не было ничего примечательного. Сон был как сон, совершенно заурядный себе, и уж вовсе не такого свойства, что просматривала Вера Павловна в дальние годы пробуждения разночинцев, страшно от народа далёких. И не касался мой сон освобождения женщины от оков брака или прочих глубин социальной мысли. Уверяю вас, вообще не касался сон ни до женщины, ни до каких-либо высоких провидений. Сон мой, должен признаться, был бесстыдно-частного характера. Ну вот имею право, хотя бы во сне.

Давно замечено: предметы, вещи и прочие сущности и объекты бытия, как одушевлённые, так и не-, они всегда не вполне то, чем кажутся. И могут иметь скрытое лицо или грань – многие из них, а какие-то даже и по нескольку таких лиц. Иные же иную свою сущность являют только во сне, а потому сон и есть такой особый инструментарий для выявления этих самых особых сущностей. Да что я, вы ведь и сами обращали внимание. По-разному бывает, тоже и во снах. Рассчитываешь иной раз на что-то, на полёт мысли, откровения какие-то, на возвышенное и необыкновенное, а увидишь, заснувши, что? Какую-нибудь Веру Павловну в пенсне и в закрытом строгом платье, а то и вообще чёрт знает что. Филина, Эйнштейна с его скрипкой, дуб зелёный,

русалку, наконец. А если воображение с поводка сорвалось безнадежно, и всех пятерых вместе взятых, и водят они, за руки взявшись, хоровод вокруг дуба и, закинув к луне бледные отрешённые лица, поют странные печальные песни, а вы, как ни стараетесь, разобрать ни слова не можете. И совсем, кстати, не обязательно, что сон так уж непременно явит какие-то загадочные обстоятельства или совершенства, сокрытые прежде суетой и суматохой вашего дня. Может быть и наоборот, сущности стараются, являют свои альтернативные стороны одну за другой, а сами-то во сне вы прямо как и не вы совсем: сонный, вялый, глупый, и вообще, ни рыба ни мясо. Огорчает? Ещё как! И хорошо бы дело, всё только во сне. Кое-кто вообще очнется поутру в своей постеле дурее прежнего – тоже, кстати, не редкость. Так или иначе, получилось вот что.

Будто бы стою я в своем обычном виде и разумении у Залива, у своего Лукоморья прямо перед дубом, в ветвях которого сидит себе некто в очках, а время, по свету дня судя, уже к вечеру. Кому быть на дубе, да в очках, да ещё в такое время? Коту учёному, Вере, извиняюсь, Павловне в своем строгом платье, или, скажем, русалке совсем без никакого платья. Нет, друзья: то филин, причем один глаз его сокрыт за чёрной повязкой. Мы знаем, сны могут нас убедить в чём угодно, для этого у них трюков богатый набор в распоряжении. Сейчас же мне очевидно, что филин этот – разбойник, может быть даже Соловей-разбойник, а что до его вида как у филина, а вовсе никакого не соловья, так это чтобы меня получше запутать и взять, что называется, врасплох. Вот, вообразите, такая обстановка, день к вечеру, дуб, на нем разбойник, при этом я вижу как во сне. Понятно, что за сон такой у нас, походит больше на начало кошмара. Мысли вялые о спасении, хотя куда там, реалистично подходя.

– Да что вы так волнуетесь, – молвит мне филин человеческим голосом, причем человеческий голос его вовсе не страшный, однако же строгий. – В сказках филины птицы мудрости, и в безнадежной ситуации они дают верный совет. Поближе подойдите, будьте любезны.

А что, у меня так уже безнадежно, думаю, и духом падаю. Но молчу, молчу, мало ли. К тому же, кто его знает, жив буду, хотя бы во сне совет путёвый добуду от филина, птицы мудрости и строгости. Подойти поближе к нему непросто, он на дубе. Подошёл, сам не знаю как. И вот мы уже с ним мило так беседуем, представьте себе только. Вид сам имею спокойный, уверенный, но о беспокойствах своих, будьте покойны, совсем не забыл. Вспомнилось, в любой ситуации с разбойником лучше продолжать диалог. Он вам слово, а вы отвечаете сообразно, и деликатно так беседу поддерживаєте, чтоб не иссякала. Покуда она длится, вы в безопасности – в относительной, разумеется. А если какой затык, повиснет тягостное молчание, тогда... ну, к чему о грустном. Только именно в течение такой вот паузы, длинной, зловещей, театрально-станиславской, именно тогда будет принято роковое решение. В отношении именно вас, не дяди Вани. Будьте разговорчивы и оживлены, но старайтесь быть естественны, разбойник это чувствует. А также... Вот! Судьба моя решается: приготовился что-то сказать.

– Кхе-кхе... Вы вот что, помогите-ка... Очки подержите. А то цепляются.

Протягивает очки. Беру. В другой лапе у него курительная трубка, и он то клювом, то когтем её ковыряет, пытается прочистить. Тут на лапе с трубкой замечая цепь желтого метала. Она предательски выказывает себя из-под его манжеты, глухо постукивает, и даже позвякивает при движении. Дурак не заметит, а я-то не из таких. Золото! Моё беспокойство обостряется. Если золото, и он уже не скрывает его, всё пропало. Сейчас он отнимет, отберет всё, что у меня есть. И в предсмертном своем озарении вижу всю логическую цепь, на дубу прячется, одноглазый, трубка, золото. Вот оно что. Фальшивый этот филин, ясное дело, пират. Сердце запрыгало. Пираты, вспоминается сразу, известны своей беспричинной жестокостью.

– Вишь ты, какая беда, – бормочет филин с ожесточением. – Всегда так забьётся, прямо душу вынет. Не трубка, а сущий дьявол. А вы, вижу, из пугливых! Кстати, у Эйнштейна тоже была трубка, уж он-то не разбойник, правда же?

– Ах, вот оно что, – это как бы я ему говорю и сразу размягчаюсь весь, ощущаю горячее доверие к филину с трубкой. Вижу ясно, не пират, не разбойник. И как-то простил ему и цепь, и золото. Да что там, просто смешно. А мысли в голове с трудом великим ворочаются. И тяжелую свою мысль с облегчением заканчиваю: – Вы Эйнштейн, как я вас не узнал! Стыдно прямо, я извиняюсь.

– Это ничего, – отвечает Эйнштейн, а сам смотрит на меня внимательно, пристально. – Это ерунда, я не в обиде. Только я, видите ли, не Эйнштейн. Пока, во всяком случае. И фамилия моя тоже другая, я профессор Филин. Вы вообще-то, когда не спите, куда более сообразительны.

Дымит он уже из своей трубки, а сообразительный я пользуюсь моментом и вопрошаю: «А очки ваши, откуда у вас очки?». Хотя на самом деле имел в виду поинтересоваться про его одноглазость, а ещё про цепь, мол, раз он профессор, то почему на цепи. Не спросил, застеснялся. Врожденная деликатность вновь опередила врожденную любознательность.

– Выдают, – отвечает профессор Филин туманно. Помахивает крылом, разгоняя дымовой туман между нами, и миролюбиво поясняет для таких сообразительных, как мы с ним: – Я же профессор, как никак. И, кстати сказать, ваш руководитель, куратор. Вам, вижу, сейчас трудно охватить, но всё сразу и не нужно. Ну те-с, о важном, нам с вами предстоит много поработать. И у меня для вас интересный проект, но всему свое время. Вот погодите, подучитесь, оперитесь, с материалом поработаете, с текстами.

Ну конечно. Это он, мой руководитель. Я сразу его узнал, мне ли не знать, в любой толпе распознаю, хоть на дуб посади. И прав он кругом, мне и трудно, и тяжело. Во сне, всем известно, редко бывает, чтобы совсем легко. И не всё пока понятно, не могу главного ухватить. Скажем, если Филин он, зачем тогда оперяться именно мне. И что мне прикажете потом делать с перьями, подушки набивать, что ли.

– Что тяжело, понимаю. А сон ваш я скоро окончу. Мы вас оценили, вы нам нужны. Сам я занимаюсь анализом текстов, космогонией, и другими вещами. А впрочем, что мы всё обо мне, да обо мне... Давайте-ка теперь о вас!

Рассказ о вас, о текстах и загадочных совершенствах, сокрытых до поры

Да-да, о вас, пару слов буквально, если позволите. Нет, не о ваших совершенствах пока, о них чуть позже. Положим, перед вами некий текст – притча, история, сказка, и вы её пробегаете глазами. Это занятие не всегда быстрое, не всегда забавное, и буду откровенен, порой утомительное, даже нудное. И вот, закончив, вы, допуская, текст этот от себя отшвырнёте и уже займетесь, наконец, своим делом, какое б оно ни было. А вот что за дело ждало вас, лично я угадать не берусь, да и кто возьмется. Это решительно невозможно, это, в конце концов, неприлично даже. Ведь всё, что угодно может быть, и даже совсем личное, к примеру:

Кто-то распахнёт рот и зевнет, эдак заразительно и с подрёвом;

Кто-то распахнёт холодильник и отколупнёт приличную крошечку голубоватого с прожилками сыра, до изумления просоленного и распространяющего свою невыносимую пахучесть сверх самых дальних границ всякого, хе-хе, приличия;

Кто-то распахнёт свой ноутбук, чтобы, наконец, совершить нечто до чрезвычайности неотложное, вдобавок волнительное и интимное и чем нервно томился весь нескончаемый вечер, – собственно, уточнить насчет дождя на завтра;

Кто-то распахнёт учебник, чтоб продолжить упражняться в спряжении французских глаголов, с угрюмым неудовольствием отмечая, до чего ж все они, нелёгкая их возьми, за каких-то два дня успели перемениться;

Кто-то распахнёт трактат Эвариста Галуа² с неосторожностью, рывком, и рухнет вдруг в самый низ, пролетев двадцать этажей с высоты своего невинного благодушия до истинного, весьма печального, положения дел – вот именно на открывшейся странице;

А вот кто-то, как вы, вероятно, догадались, ничего не распахнёт и ничего не сделает.

Пожалуй, на этом ваши отношения с притчей-историей можно считать исчерпанными – хотя какие тут, в сущности, отношения. Прочёл, и к стороне, полагаете вы. А вдруг отношения, чисто гипотетически, всё же и возникли. И так могло получиться, что пока вы глядели на буквы и восстанавливали из них мысли и фабулу, текст сам в то же время вас изучал, и хмыкал, и прыскал от простоты вашей, прикрываясь ладошкой – как вам такое. В сущности, текст это некий шифр, а создан-то с вашим учётом. Вы нужны тексту, можно сказать, он вас домогается, чтоб воссоздать живую чью-то фантазию о ваших ощущениях и переживаниях. Ведь без вас тексту, такому многообещающему, с совершенствами нераскрытыми, уготовившемуся было прокричать своё слово неосведомлённому миру, придётся так и остаться непознанным шифром, и такая перспектива беспокоит его чрезвычайно. Но почему же именно я, говорите вы, ведь я-то такой, а другой сякой, говорите вы, и это всё справедливо, каждый читатель замечателен в оттенках своего восприятия. Чтоб запечатлеть и отобразить все мыслимые эмоции, надо сперва о них узнать. Признаю, это слабая пята текста, он слеп и глух, и выстреливает в белый свет абсолютно наугад. Пока вы не наделили его своими эмоциями, он не ожил, пребывает в спячке, как медведь в берлоге. Вы читаете и начинаете реагировать. Если текст хорош, вы действуете по его расчёту. И вы рады, и всё работает, как задумано. А если, мм... не хорош, тогда что? А тогда, вот тогда-то... ничего. Вы не делаете абсолютно ничего из того, на что он, шифр этот, имел нахальство рассчитывать, и что он как бы пытался передать вам, но так же запутанно, косноязычно и зловредно, как действует, к примеру, инструкция по сборке платяного шкафа с привлечением имеющихся у вас молотка, отвертки, куска мыла и смекалки в разумном количестве, и уж тогда-то всё, всё буквально, прямым ходом идёт в тартарары.

И что ещё интересно, оказывается, отношения ваши с притчей-историей ещё не закончены. Нет, не закончены – даже если вы и выбросили её с половины, и даже если отношений этих, как вы настаиваете, вовсе и не было. В конце концов, не всё же только от вас зависит, есть ведь и вторая сторона. И вот так-то, эта история, по всей вероятности, ещё будет какое-то время сомневаться, грустить и обдумывать вас – можно сказать, питаться и жить вами, какой бы человек вы лично не были – такой, сякой, растакой. И обратит она на вас свой задумчивый интерес и, насколько уж это возможно, вами обогатится. Конечно, не всякая притча-история вот так непременно воспользуется моментом, пока вы увлечены чтением, чтобы потихоньку подкрасться, обмотать себя вокруг вашей шеи, и как следует впиться в вашу бессмертную душу, вовсе не обязательно. И вообще, может быть, всё это, как бы получше сказать, слишком экзальтировано. Но всё же – вдруг, да и возникнет, и синтезируется вот нечто эдакое, и будет оно помнить вас и романтически возвращаться к вам в своих воспоминаниях, как бы вы к этому ни относились. А ведь было бы забавно, не правда ли.

² Эварист Галуа: французский математик (1811–1832), заложивший основы алгебры групп. При жизни был отвергнут педагогами и учёным миром.

– Последнее, главное, именно в ваших совершенствах я уверен абсолютно, – говорит профессор Филин с курительной трубкой в руке, золотым кольцом на пальце, специалист в космогонии, текстовом анализе и прочих науках.

И тут мой сон чудесным образом заканчивается. И надо сказать, весьма кстати, а то мы с вами как-то чересчур увлеклись дубами, Эйнштейнами и учёными филинами, равно как и совершенствами всякого рода, загадочными и непонятными. Наша история, меж тем, ждёт терпеливо.

Рассказ о чудесной капле и странном перевоплощении

– А и не надо его много.

– Нет, много не надо. Одной только капли должно хватить...

– Да, хватит и одной... Если верная капля, роковая...

Шелестят слабые голоса под исполинскими ветвями полуживого фи́га. О чём, о чём они? О своём, о давнем...

Всякий плод по-своему поспевает, а инжир совсем необычен. Созревая, он истончает свою кожу, и оболочка его, зелёная и твёрдая вначале, день за днём понемногу исчезает, трескаясь по бокам или снизу, и плод томится, набирая негу и сладость. Какая ягода лопнет внизу и образует подобие отвёрстой пасти дракона о четырёх углах и ярко-красной внутри; какая, накопив нектара, выпустит внизу тягучую прозрачную каплю, и тогда берегись! Время пришло, и всех букашек, и жучков, и клопов, и шмелей, и пчёл, и ос, даже и мушек мелких – всех сзывает на пир этот волшебный аромат, который возбудит до крайности весь насекомый люд. Человек не может учуять призывного его духа, а вся летучая братия с писком, с жужжанием и многоголосым гудом набрасывается и терзает нежный плод, пока не оставит пустую потемневшую шкурку, свисающую беспризорно, не нужную более никому.

Долго, трудно зреет инжир. Мелкие зелёные ягоды всё не темнеют, всё не пухнут, а торчат зелёными кочками на ветке многие недели, пока не наступят жаркие томные дни наподобие сауны, которые и должны погубить всё живое и в саду, и на этой Земле. И тогда вдруг в один день зелёный инжир вдруг вздуется, потемнев кожей, и скажешь себе: ага! уж тебя, голубчик, я заприметил. А на другой день смотришь, кожа вся пошла снизу в трещинку, и помягчел вдруг он весь, но не пора ещё; а пора будет через полдня или даже к утру. Не пропусти, пока древесный мелкий муравей или крохотная чёрная ооска, в четверть от муравья размером, не проторили дорогу в его сочное нежное нутро. А оглянувшись вокруг, увидишь, что все плоды на дереве уже спелые, мягкие, сочные, все разом и поспели.

Как пчелы у своей ларвы в улье, суетились и кружили под фигом садоводы. Старуха собирала ягоды, умещая их в низкую корзину и перекладывая чистой материей. Лишь иногда она вдруг останавливала руку, щуря полуслепые глаза и пытаясь рассмотреть плод: хорош ли, нет ли на нём жучка, какой другой твари; иной раз проводила по нему пальцем – то ли чтоб увериться в его мягкотелости, то ли удалить невидимую соринку, – а затем, прикрывая черепашки веки, отправляла в рот. Это не останавливало и не прерывало их ритма, а казалось естественным па их танца, древнего, долгого, тягучего. Садоводы обходили стороной молодые кусты, вокруг чёрного старого фи́га исполняли сегодня они свой странный нелепый танец. Словно бы что искали – неумело, на ощупь, вслепую.

Нежен и капризен плод инжира, ни сохранить долго, ни увезти далеко. Потому не найдёшь спелого инжира на базаре, ты приди в сад, если знаешь в нём толк и желаешь вкусить его нежного тела и сладкого нектара. Снимай легко, пальцами. Не сдави, не рви против воли, не терпит он неделикатности в обращении, и будешь вознаграждён. Как же сочен, как сладок инжир, когда спел и с куста! Старуха лакомилась. Было видно – она вожделеет ягоду и, поедая её, испытывает наслаждение сродни чувственному. Но что это? Всё тоньше и туманней становятся её черты, всё меньше и меньше походит она на старуху. Будто в кровь её входит эликсир нетления и юности, и тягостное старческое копошение превращается в быстрые и точные движения молодой женщины, а из-под старой шляпы выпадает уже густая прядь чёрного волоса – да это красавица! Чур меня, чур! Магия, колдовство, и навороты, заклятья, чары и чудеса. Не потому ль давно, сотни лет назад возвращен был сад. Никто, никто, ни одна душа не знает, что волшебный эликсир, предмет вожделений и поисков, раздоров и надежд, он здесь, прячется среди плодов, сладких нежных ягод, сочащихся нектаром, вечно искомый и вечно же ускользающий. Искрящийся колдовской эликсир, возвращающий силу, юность и желание. В юность трепетную, живую превратит угасающую плоть чудесная капля и обернёт вспять время.

– По плодам их узнаете их, – произнесла моя спутница, весьма себе загадочно произнесла.

Не была она впечатлена чудом перевоплощения и что-то знала. И назвала ещё одно имя Хранителей, их тайное имя: Сластолюбцы.

Рассказ о торжестве сластолюбия и упоительных грёзах

Да, Сластолюбцы! Вот слово это. Любострастием полыхал раскалённый день. Звучала в небе, звенела в ушах вечная песня, исступленный зов цикад. Сегодня, сейчас! – кричали цикады. Таков он и был, день свершения, миг сластолюбия. Чистого как слеза, прозрачного как капля инжирного нектара.

Много юных дев есть в белом свете. Есть и стройные, есть и лицом красивые, есть и с походкою плавной, и с грацией царственной, и в прекрасных одеждах, взор пленяющих. А смятение поднимет, затмит всё, и покой отберёт лишь одна, если разве такая найдётся. Красота ранит, и яд красоты, оружие её, и ошеломит, и обездвижит. Но и странно действует он, то удивление вызовет, то печаль разбудит, а то тревогу призовет. Отчего так, кто знает, и велика есть тайна сия. Но помни и трепещи, раз тревогу ощутил ты, ведь значит это, что ты не ранен, сражён. Убит и наземь повержен, а голова катится по траве, и будто хватает ртом воздух, а ещё и тщишься, и не можешь понять угасающим разумом, как и почему. По достоинству оценит красота твою жертву и с должным величием примет на своем алтаре.

Девушка в ниспадающем светлом платье, выступила, казалось, прямо из чрева старого древа, из чёрных его стволов, и стволы эти казались чёрными власами её. А может, и впрямь то были её волосы? Девушка махнула рукой, что-то сказала или кого-то призвала. Нет, не мне взмахнула, и не меня звала – возник рядом тёмновласый садовник, юноша юный, почти мальчик. Они взяли руками, и в тот момент перестали кричать цикады. Воздух загустел, всё остановилось и замерло. Повисла тишина, будто у всех одновременно уши закрыли ватой. И стояли они, не двигаясь, слушали тишину вокруг себя и смотрели друг на друга. Было тихо, очень тихо. Эти двое были вдвоём, и не было никого больше, ни спутницы моей, ни меня самого. И отчего-то заныло, защемило в сердце, сделалось грустно и жалко – девушки, её цветения, красоты, волшебного сада, и чего-то ещё, туманного и неясного, своей ли юности разве. А может, это осознание смерти, ждущей где-то. Печаль и сожаление накопились и жгли глаза, и

моргнуть стало невозможно вовсе. Притча о двоих в фиговом саду кончилась грустно – отчего в мире столько её, печали. Моргнул и перестал видеть влюбленных – их тёмные волосы сплелись вместе, вплелись в чёрные ветви фиго, а лица сделались расплывчатыми, неразличимыми. Тишина и беззвучие длились и не кончались, пока крупная рябь не прошла по тоске застывшего воздуха. И оказалось, нет и не было никакой тишины – монотонный ор цикад побуждал неистовый жар дня уступить мягкой прохладе вечера. Пёстрое перо, оброненное хищной птицей, легко опускалось сверху и описывало круг. Я отброшу перо, я беду отведу.

Юг и солнце, упоительная песнь цикад в неистовстве и торжестве своей страсти. Что за чудные чудеса, какие волнительные грёзы уготовляет порой летний день. Ах, как он бывает обманчив! Под древним фигом застыли двое. Держа друг друга за руки, они всё смотрели друг на друга. Не юные флибустьеры, древние садоводы. И не была более ни густой, ни горячей их старая кровь. Разбавленная длинными годами, неспешно текла в старом теле и не могла согреть даже в знойный летний день. Увы, увy. Не были более двое сластолюбцев юны, как они были минуту назад, только одну минуту. Мимолетная юность, она опять обманула – улетела, унеслась без следа.

И тогда всё сделалось ясно...

Рассказ о кончине Сада, неизбежной и таки случившейся

И стало ясно, что...

Эти двое законченные сластолюбцы;

И неодолима их страсть, и порочна она;

И может статься, в сластолюбии и закончат они век свой – и длинный, и скоротечный;

И упокоятся оба в одной могиле у древнего камня;

И в запустение опустится Сад, и высокая трава заберёт себе тропы;

И задремлет мир, и уснёт непознанная Вселенная;

И так тихо и незаметно закончится сластолюбия великий век;

И сбудется, сбудется, сбудется всё так, и никак не иначе...

Но тень, зловещая тень, наползает на Сад, и омрачает лик мироздания. Конец веселью, беззаботности конец. Находят сумерки – хмурое тревожное время.

– Ой-ой, мрачно как и безнадежно! Ну почему всегда получается так?.. Все старые или умирают. Я прямо-таки страдаю от всего такого, а вам будто всё равно.

– Но помилуйте, во-первых, не все. Только двое, да и как иначе? Сказано же, сотни лет, а всё живут себе. Впрочем, понимаю. Мрачновато. Отчего, сам не пойму.

– Ах, я очень прошу вас! Пожалуйста, как бы повеселее. Ведь бывают же счастливые сказки, разве нет?

– Счастливые, говорите? Гм, признаться... Видите ли, счастливыми у сказки могут быть разве что их концы. Не всегда, правда. Тут, понимаете, мистерия, путь сквозь тернии, судьба. С другой стороны... весёлые сказки, скажем английские... кельтские... Ещё там германские племена, норманны, Северный эпос. Правда, весёлого там разве что мертвец на кобыле... кобыла, естественно, тоже мёртвая. Это всё, мм... как-то бодрит, по-видимому. Однако ж...

Однако ж бросали на землю два мрачных камня свою хладную тень и смущали мысли. И сомнения, смутные сомнения вызывали они. Нет, о, нет! – говорили нам валуны. Иной конец уготован уже великому торжеству сластолюбия...

И в кончине этой загустеет, застынет инжирный нектар заговоренным эликсиром;

И пробудится чёрный многовековой куст, и родит страшный плод;

И, сорванный с ветви, разом вспыхнет-воссияет светом изумрудно-пламенным,

И осядет, просыплется меж пальцев чёрным пеплом;

И огласится сад леденящим воплем то ли ведьмы, то ль ночной недоброй птицы;

И бухнет, провалится сердце, и застынет в жилах горячая кровь;

И до срока угаснет солнца день, и озарит луна Землю неверным светом своим;

И, начертанные на камнях мрачных, докрасна раскалятся предсказания древние;

И лопнут с грохотом тёмные валуны, и ударит молния ясной ночью;

И блеснёт желтым глазом, и поднимет мохнатые крыла,

И хохотнёт, и заушает смехом сатанинским филин дикий, безумный;

И неукротимого веселья цунами-волна накроет и поглотит древний Сад;

Лишь узришь его последний раз в чёрной ночи, всполохами озарённого;

И стариков обоих окаменелых, в позах своих застывших;

И целую вечность всё тянет старуха немощную руку к фигу-инжиру, плоду сладкому, запретному и уже недостижимому вовек.

Рассказ о незаслуженных упреках, о причинах и смыслах сущего

– Ну как же так! О совсем другом говорили минуту назад.

– Нельзя бежать рока и неизбежности...

– И отчего неизбежность?

– Всё предрешиено, неизбежно, неотвратимо.

– Но вы обещали, зачем? Будет всё мирно, покойно. Сластолюбцы уснут, сад зарастёт травой.

– Не я обещал, Путники полагали. Им так казалось, понимаете? А на деле... всем было ясно, что развязка близка.

– Ах, вот как... Но почему такой финал «предрешиён»?

– А! В чём тут дело: Волшебный сад это, изволите видеть, портал в мироздание, и так вот они связаны. Мироздание первично, а явлено через Сад. Годы идут, века, тысячелетия. Фиг стареет, то же и Хранители. А что делать, что делать! Не берусь сказать, сколько уже им, мм... было. Теряют сноровку, эликсиром увлекаются. Сорвали чёрный плод, создали червоточину... А посмотреть, может, и не на пустом месте всё началось. У мироздания свои проблемы. Всё приходит к чему-то, чего не остановить. Снижается лайнер, выпускает шасси, садится на полосу. Получается, катастрофа в Саду могла быть частью плана, началом большой трансформации... Однако, во многих мудрости многия печали. Сие не дано знать нам. Может, и к лучшему.

– Как странно. Я как-то не ожидала. Вы сказали «к лучшему»?

– Так полагаю. Мироздание отображает лишь то, что мы способны объять рассудком. Разум тоже странного не приемлет, лишнее и непонятное выбрасывает. У каждого, видите, свой горизонт. Муравей не может знать о лесах за горами.

– А может, это и есть отражение внутренней катастрофы. Сова закричит, пропадёт солнце, может что-то ещё происходит, там, за занавесом? Какой-то кукловод зловещий, или что-то в этом роде.

– Ну посудите, откуда же мне знать? «В тумане бытия сокрыто многое, но остальное всё в небытия тумане». Вы от меня слишком много ожидаете. И такое может быть. Всё может быть...

– А я всё надеюсь, что дальше повеселее будет.

– Всенепременно! Вы даже в ладоши хлопаете, как замечательно всё закончится. Веселье только начинается, и притом самое настоящее.

Рассказ о нехороших предчувствиях, расколотом небе и нарисованных улыбках

...Так погубился Сад, и какой-то элемент пропал с ним вместе. Он не был замечен ранее, но всё поблекло и потеряло смысл без него. Весь мир вдруг ужаснулся и съёжился. Казалось, если кто так распорядится, мирок наш легко уместится что в табакерку, или хоть в музыкальную шкатулку, и будет ему вполне просторно среди всех её пружин и шестерёнок. Именно так, незаметно и исподволь мелкие вещи нам вдруг являются огромными. Не потому ли, что всё чувствующее втягивает голову и корчится от тягостных ожиданий.

Мы не роптали и не могли теперь, ничтожны и убоги стали мы. И шагали всё по нескончаемой вечной дороге, а куда ещё было идти. И цикады всё кричали... а что им было делать. Будто и прежним оставалось всё вокруг, а только стало казаться необязательным и ненадёжным. Словно дух опасности на бредущем крыле бесшумно пронёсся над головой. И будто кто-то плакал, не о нас ли, высоко-высоко в ультрамарине южного неба. Но только музыке дребезжащего клавесина внимали мы: О, du lieber Augustin, Alles ist hin! И не подозревали никак, что зашли далеко, переступив черту, отделяющую сказку простую от сказки весёлой – а ведь отдельно они должны пребывать, как твердь Небесная отделена от тверди Земной. В тревожной тишине безвременного конченного дня ступили мы на тревожную территорию. Благоразумно ли это? Видимо, не вполне, да только выбор теперь не за нами.

Раскатисто и с треском лопнула в воздухе сухая молния, расколов небо на части. Небесная твердь вдруг непоправимо сокрушилась и осыпалась хрупкими обломками-черепками на горячий асфальт. Куски неба валялись на дороге, словно осколки разбитого калейдоскопа, легкомысленного обманщика. И дуновение вечности и бездны, холодной и равнодушной, прошло вдруг по спинам. Не была злокозненна бездна, но была она пропастью и дырой, которая не заметит ничего, никого, ни нас, ни вас, ни дерева, ни птицы, ни горы, ни песчинки – не заметит, но и не пощадит. И таила она холод холодный, и ужас ужасный, и опасность опасную, а что невыносимое самое, ей было всё равно. И близко, близко к себе ощущали мы её мертвенное присутствие, и сделалось не по себе без неба, привычной защиты от произвола, злого умысла, природного катаклизма – или чего-то более страшного и неотвратимого. Нежное небо, волшебное небо, зачем, для чего оно было. Для нас, для счастья? Кто из нас думал о нём, пока оно обнимало нас и парило в вышине. Кто знал, как непрочно небо, и как хрупко счастье. В маленький лесной муравейник попала горящая головня. В катаклизме исчезает весь белый свет, и небо пало на землю.

А мы?.. Продолжали идти механическим шагом, наступая на небо, конченное безвозвратно. О, du lieber Augustin, Alles ist hin! Музыка всё играла, так казалось нам, и это была необычная музыка, с ней было легко шагать, и не нужно думать. Как дуда крысолова она влекла, гнала нас всё вперёд и вперёд, по остывающей дороге. И шагали мы, поворачивая голову на поверженный Сад и улыбаясь нарисованными улыбками на своих нарисованных лицах. И мёртвым оскалом застыла моя улыбка на сотни лет, и за гримасу ужаса принимал её всякий, когда приближал к нам свое лицо, чтобы лучше

разглядеть всё – и Сад, и садоводов, и садовое пугало, и нас самих, свидетелей Сада. И удивлялся тогда он на наши улыбки, и говорил кому-то: а ты погляди-ка, какие у них лица чудные. Но никто, никто не открыл нам, что ждет нас, и окончено ли вовсе наше будущее вместе с разбитым небом, а из того, что должно случиться в скором времени, не знали мы, в сущности, ничего. Но если б и знали? Два муравья в разбитом музыкальном ящике, что могло зависеть от нас.

Рассказ об именах и смыслах. Назови, назови это имя – назови, если помнишь его

Время застыло, как стекло, а мы были на нашей дороге. Нам было негде быть больше во всей бесконечной Вселенной. Книга будущего, непознанного книга, кому открыты твои страницы. Я бросил осторожный взгляд на спутницу. Лицо её было бесстрастно, лишь на прекрасной деревянной щеке лак, покрывающий поверхность, показывал выщерблины. И трепетная красота, и её самое совершенство уже сделали свои первые робкие шагжки по угрюмому пути к распаду и тлену. Я хотел спросить, не страшно ли ей, но мне пришло в голову, что я не знаю, как к ней обратиться, я как-то позабыл её имя. Неожиданно, странно и совсем некстати. Я знал и помнил о ней довольно много, за одним только и вполне себе обидным исключением, как её зовут. Неловко было мне, и досадно мне было – и не мог в том ей признаться я. О, du lieber Augustin! И в тупик зашло всё разом, и куда ни обращу взор, всюду встречает его совиный глаз мрачного рока. И подумалось, если я позабыл имя её, что же сама она, знает ли моё – или своё хотя бы. Есть ли у нас имена, да и были ли хоть когда.

Сложно и непонятно сделалось всё. Если нет больше неба, кто мы тогда и куда маршируем. Эта музыка, назойливая, обволакивающая. Она лишает нас нашей свободы, околдовывает, сотворяя из живых нас механических кукол: О... du lieber... Augustin... Эти странные звуки – но музыка ли это. Мелодия ломается, гармония исчезает, звуки плывут и превращаются в хаос. Alles ist hin! Всё кончено. Моя голова вспухает, не в силах более ни объяснить, ни вместить всех загадок, взявших её в осаду. Э, да что голова кукле. А воздух тяжелеет от большой перемены... Всё должно как-то завершиться, и всё действительно закончилось, сразу и вдруг. Пружина лопнула и выскочила наружу, от моей рубашки отлетела не то пуговица, не то гайка. Одновременно мир перевернулся и стал раскачиваться в этом неудобном состоянии, и меня замутило. Голова! Моя голова качалась на конце выброшенной пружины. Может быть, это немного чересчур, но кто, какой умник сказал это, ведь настоящее веселье не ведает границ, не правда ли.

И озадачена сделалась подруга моя, и не до веселья стало ей. И голову мою схватила она отчаянными руками. Не нужно так качаться, голова, не нужно пугать до времени. Тоже и ты, мой друг, возьми себя в руки, и приведи, наконец, в порядок голову свою. Да, так хотела сказать она мне, но вдруг поняла, что не знает моё имя, а советовать кому-то привести голову в порядок, не зная его по имени, кажется странным. Пусть даже это близкий друг, пусть спутник, с которым столько пройдено вместе и столько всего впереди. Но... его имя, как назовёшь его имя? Неясно, но так бывает. То, что естественным кажется, оказывается невозможным.

Рассказ о сарказме судьбы, о временах, нравах и никчемных жалобах

Подул вдруг ветер, подул сильнее, и пошёл крупный дождь, превратившийся в град. Боже мой, что это был за град! Никто, никто в памяти своей не припомнит такого града.

Летели капли, льдинки, листья, сосульки, цикады, ветки, фиги.

Падали рыбы, птицы, калейдоскопы.

Ветер пронесил мимо усатых и безусых рыбаков. Рыбаки были сильные мужчины, но много сильнее рыбаков был ветер.

С видом гордым, независимым пронеслись рыбачьи усы в свободном безрыбачьем полёте. Куда, зачем летите вы? Постойте, одумайтесь, там ли ваше счастье?

Сыпались один за другим, падали с неба безумной чередой оба чёрных валуна, покрытых мхами и загадочными надписями-заклинаниями.

Рухнули филин и сатанинский смех, придавленные сверху обрушившейся Вселенной.

Упала и спутница моя, неудачно подвернув ногу. Всё протягивала она ко мне руки, и должен был, и хотел ей помочь я. Но что кажется естественным, всегда невозможно. «Берегите голову», запечатлелось в памяти. Грядущее, и судьбоносное, и тревожное, уготовляло моей голове особую роль, какую только. Во власти стихии и ситуации оказались мы, и не могли ни наблюдать себя со стороны, ни размышлять об обстоятельствах, ни привлекать иронию как способ балансирования на краю. Усмешка, каламбур, парадокс – нет, не думали о них мы, когда боролись, страдали и выживали в схватке, когда Мироздание вслепую размахивало своим безумным молотом вокруг и рядом. Меж тем по прошествии времени, тот самый взгляд со стороны и есть то, что в памяти и останется. И теперь только подумалось о гранях событий, о сарказме положения тогдашнего, об иронии судьбы, и быть может, о лёгком паре, который весьма легкомысленно препровождает именно судьбы иронию, как мне уже подсказывают, а я-то, представьте, всё очень даже помню.

– Так. И в чем, собственно, здесь сарказм? – спросите вы, должны просто.

Да вот, посудите сами, подруга подвернула ногу (случается, хоть и всегда некстати), как на грех, у вас именно в это время оторвалась голова (согласитесь, редкость всё же), и именно в этот день и час и приключается Конец света. Неужто правда, ну просто чёрт знает что, в самом деле. Эй, кто-нибудь, есть там кто-то, кто всё решает. Объясните тогда, наконец, ну кто в белом свете поверит в этикие совпадения. Тут какой угодно пар может приключиться, пусть хоть и лёгкий, и даже в ушах начнет вдруг свистать, никак этому не удивлюсь, ничему теперь не удивлюсь. Не исключу, что схожие по накалу страстей обстоятельства сподвигли Цицерона вскричать в недоумении «О, времена! О, нравы!», хотя в те дальние времена лишиться головы было просто до чрезвычайности, а на нравы во все, абсолютно во все времена не жаловался только уж совсем дрянной и никчёмный человек.

Рассказ о времени разрушений, абсолютной Воле и Эврике

И оно пришло, время разрушений. Весёлый ветер пропел свою песню, сорвав с оторванной головы бейсболку и солнечные очки. Тоже и волос лишился заодно я, да что там. Снявши голову, по волосам не плачут, говорят люди, а я скажу, как сказать. По самым даже скромным меркам несправедливо много терял я. Галактики и вселенные уносились в небытие, и с чем теперь оставаться. Всё падало и рушилось – всё, кроме меня, бывшего меня. Что от меня уцелело, не могло быть унесённым бурей или Концом света, не так много от меня сохранилось. Как странно! Во мне был весь мир, так полагал прежде я, а теперь меня не было, не стало и мира, домом которого я служил.

И вот, мало-помалу, или же, напротив, в одночасье и вдруг, я и сам не успел понять как, пришёл час, когда закончилось мироздание. И не было больше никаких планет, звёзд, галактик, не было траекторий небесных тел, по которым небесным телам полагалось двигаться в соответствии с законами небесной механики, не осталось ни

законов этой поднебесной механики, ни, страшно сказать, её самой, даже самой ничтожной её малости. Был гул, рёв и хаос. Настало безвременье, тоскливая вечность. Не было счастья, покоя и никакой воли во всем белом свете, кроме моей, и моей волей был я сам. Что я чувствовал, чего желал? Я не наслаждался битвой жизни, как Буревестник, чёрной молнии подобный, не воспарял вверх, как горный дух, и не метался в ярости, как шаровая молния, как кот по комнате с гардинами. Тоска и печаль неземная одолевали меня.

– И когда всё это, наконец, закончится? – спросите вы. Ваше терпение не безгранично, и верьте, я понимаю. Но это и есть, к чему всё пришло. Ничему уже не быть более, великое никогда. Именно в этот момент, когда все прониклись и осознали, что-то, наконец, произошло. Мой странный слух уловил шелест и тепло, распространенное некоей лампочкой, но не простой лампочкой Ильича или Эдисона, а сугубо воображаемой лампочкой серии Эврика. Она вспыхнула в моём сознании, и в тот же миг я постиг трансформацию больших энергий и преобразовал свою бывшую голову в кольцо гравитационного портала, раскрутив его до умопомрачительных скоростей. Я простёр свои многие руки, тонкие и слабые, как невидимые струны тёмной энергии, ухватив все сущности силами гравитации, электромагнетизма и всякой иной природы. Вся материя мира должна вернуться обратно в меня, где была прежде и где она так просто и так органично образовывала скучный мир, какой мы знали всегда, и которого больше не стало. Вернуть Прежде было целью, Прежде, которое настанет в будущем.

Я ощущал, как дрожит и колыхается материя в зоне моего охвата, как всё закручивается в спираль и ускоряется, проходя сквозь обруч, бывший когда-то моей бедной головой. И тёмная материя³ – она тоже что-то делала, как-то поддавалась, или же, напротив, упорствовала, и как часто с такой вот материей случается, нельзя было сказать определенно, что же с ней, в конце концов, происходило. Целая вечность уткнула бесследно, и надо было навёрстывать. Я ускорял и сжимал Время, я метался, приближаясь к Сингулярности, и осаднение мироздания явилось Большим взрывом, как, по-видимому, и должно было быть.

Рассказ об одной простой концепции. А также об «in profundum magnitudo»⁴

Никогда, никогда в прежней моей жизни не совершал я ничего подобного. Мелки и ничтожны были мои дела и устремления. Ошибись я тогда, кто заметит моё прегрешение, много один или двое. Не то теперь.

Глазом Провидения был я и обозревал мегапарсеки зарождающейся Вселенной, они выплёскивались из декартового объёма в многомерные многообразия и заворачивали наш трёхмерный мирок в причудливые зыбкие формы. И Время было сперва горячим и нестойким, а потом холодным и жидким, и двигалось оно странно, то пожаром, то наводнением, то живо, то долго, то плавно, то толчками. И миллиарды лет назад было всё, около тринадцати, доверяя тем, кто знает наверняка. Но не было тогда ещё ни тех эрудитов, ни нас с вами, ни на этой Земле, ни на какой иной. Всё начиналось заново. И давно было, и недавно, а помнится, как вчера.

И Туманом сомнения был я, и не уверенный ни в чём, вопрошал себя, много ль ошибок уже наделал, и тот ли прежний я был это, и одной из этих ошибок не был ли сам, и не знал ответа на эти вопросы.

³ Тёмная материя (физ.) – абстракция для объяснения необъяснимых несоответствий в наблюдаемых объектах Вселенной. Явлена миру в сомнениях и противоречиях, а наблюдать её возможно посредством гравитационных взаимодействий в контрасте с наблюдениями через телескопы или радиотелескопы.

⁴ In profundum magnitudo (лат.) – величие в глубине.

И Рукой созидания был я и находился повсюду, и торопился, и работал. И образовывались галактики, и разлетались по краям и весям, и клубились там и сям прото-облака холодного и горячего газа, и взрывались, схлопывались и сбрасывали оболочки звёзды немислимых масс, исторгая из себя холодных нейтронных звёзд, компактных и беспокойных, бешеным веретеном крутящихся кругом себя и рыскающим по своим неизведанным орбитам. И мириады частиц, подчиняясь перемене в начальных условиях, а также следуя неизменным законам, как уже познанным, так и ещё не, вдруг теряли покой и память, и странность, и аромат, и прелесть, и очарованность свою, обретая взамен энергию, скорость, беспокойство и немислимую охоту к перемене мест. И всё бурлящее мироздание вновь ощущало свою локальную устойчивость и самодостаточность.

И Разумом наблюдения был я и позволял мироустройству самому вершить свои дела. И сонмы запутанных кварков образовали гигантскую нейронную сеть⁵, которая, повинаясь себе и абсолютной истине, унаследованной из прошлых Вселенных, соткала и восстановила состояние всего мироздания на момент его случившейся кончины в Очарованном саду. Подобно тому, как яблочная Машина Времени⁶ в случае краха или несчастья перенесёт вас назад, во времена, когда было легко, просто и счастливо, – и возродит полное состояние своей памяти со всеми живущими в ней процессами. И все они будут жить и развиваться снова, бездумно и беззаботно, как никогда и не умирали. Простая, сказать, концепция, а как полезна, может и весь мир спасти, и Конец света переиначить, конечно, если сбоя не приключится там, наверху. Да только, верно подумали вы, можно ли когда-либо на это рассчитывать.

– Что же! Сказать откровенно, здесь поняла не очень. Как-то запутанно всё, да и кварки ваши тоже совсем запутались. Одно ясно, обещанных веселья и лёгкости ожидала понапрасну. Тем паче, что в шуме, гаме и суматохе свершений всё и закончилось уже, так ведь?

– Ну как, в конце-то как раз радостно. Все процессы возродились прямо на своём лету, ну разве не чудо!

– Да-да, чудо расчудесное, и всё-то оно замечательно. Только больше напоминает нескончаемую трагедию, раз начавшись, никак не кончается она. Не находите?

– Вовсе нет, кончается всё жизнеутверждающе. Это во-первых. А во-вторых... да вот, хотя бы... Вообще-то, часто величие не в лёгкости, а в глубине, как говорят, *in profundum magnitudo*. Так и вышло, ведь верно?

– Спорить не буду. Только, сдаётся, опять запутались вы. Что с вами поделаешь.

– Ай-ай, ну хорошо, согласен, не будем спорить. А я предложу что, давайте подождём ещё хотя бы страничку, идёт? Все знают, иной раз одна, всего одна страничка перевернёт в сюжете больше, чем просто страницу.

⁵ Имеется в виду искусственный интеллект на основе невозможного квантового компьютера, такого, что использует все доступные кварки новообразованной Вселенной. Квантовым компьютерам под силу много больше, чем компьютерам обычным, различающим Да и Нет. Компьютеры на основе кварков допускают оба состояния одновременно. Кстати, не только в сказке.

⁶ Функция Time Machine (Машина Времени) предназначена для восстановления состояния компьютерных диска и динамической памяти. Была впервые предложена компанией Apple Inc.

Вот о чём забыл сказать я. Забыл, а ведь это главное и есть. Нейронная сеть, возникшая из ниоткуда и воссоздавшая все компоненты мироздания, чудом была необъяснимым. Но и в любом чуде, если покопаться, можно найти изъяны и неточности, пусть и небольшие. И всякий, кому привычно вдаваться в скучные детали, это знает. То же и здесь, сеть синтезировала мироздание так точно, как смогла. Но в силу каких-то причин, таки вкратились здесь и там погрешности и ошибки в вычислениях. Моя беглая инспекция клонированной вселенной выявила по несколько копий других миров, отличных от этого. Не были эти копии абсолютно идентичными, представьте. Уж так получилось. Может, какая-то асинхронизация возникла и развилась потом, кто ж теперь скажет.

А мы-то причём, нас-то как это может касаться, скажете вы – а вот как. Вот в каких-то из этих миров одновременно идут по дороге копии Путников, похожие друг на друга чрезвычайно, только одна девица будет в соломенной шляпке, а другая, в другом мире, в дымчатых очках, которые, заметим, идут ей никак не меньше соломенной шляпки, как ни хороша эта самая шляпка сама по себе. Или другая деталь, где-то цикады кричат, а где-то спят они, а кричат, скажем, лягушки – и всё в таком вот роде. На мой вкус, романтичным может быть и то, и другое. Но вы понимаете, зависит, кого спросишь. А главное, из-за эдаких-то мелочей временные разрывы – между До и После обрушения неба на землю – перепутались совершенно в запутанном сознании наших кварков, так что копии миров До и После во многом оказались подсоединёнными друг к другу в произвольном порядке.

Всё смешалось в безалаберном доме новообразованной вселенной. Шляпки, очки, цикады, лягушки, рыбки, птички, и Бог знает что ещё. И как тяжело, Создатель, вечно обо всём беспокоиться. А всё из-за такой, казалось, ерунды как кварки, до чего бестолковый, в сущности, народ. Но и здесь есть логика. Раз так вот получилось у них, то не назад же им было возвращать вот это всё, в самом деле. В их, кварков, запутанном мировосприятии некоторые взаимоисключающие события выглядят совершенно логичными, вот представьте себе. Не будем забывать, что сами кварки находились во многом под тягостным и непривычным грузом сказочных обстоятельств. Согласитесь, не всегда сподручно работать в таких вот условиях, когда по работе то и дело предстоит запутываться. Конечно, сушая ерунда это, и ни нас с вами, ни нашей истории эта несурза ни как образом касаться не должна. А у нас есть и обязательства, в конце концов, бежать, ползти и всякими другими способами продвигаться к завершению того, что уже заварилось. Продолжаем, как ничего этого нет, и мелкие странности и подобный вздор, возникни они по этим или другим каким причинам, не должны, да и не могут никак препятствовать нам в нашем с вами вполне себе благородном деле: добраться до самого конца этой нашей истории – если, наконец, такой отыщется.

Рассказ о телефонных звонках, тонких материях и глумливой никчемности

Вот верно заметил один проникательный человек, бывает всё на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймёшь. Что сразу наводит на мысль, наши-то дела как, хороши ли? Так, посмотрим, что у нас тут вообще случилось, и главное, как мы сами со всем этим справились и отличились. Ну, без дела-то мы не сидели, а дел у нас было невпроворот, как тут один уже сказал или потом только скажет. Иду по списку – поболтали о юге, пофилософствовали о судьбе-злодейке, на рыночек забежали, ввязались там немножко в эти самые рыночные отношения, по дороге походили туда-сюда и по кругу, в общем погуляли как следует, цикад послушали, Садам полюбовались, порассуждали об инжире в частности и о сладостлюбии в целом, пободались с дубом, вернее с Эйнштейном, который оказался Филином, в смысле профессором. А ещё много чего и повидали, и

осознали, и воплотили в жизнь, в её живую ткань, полную соблазнов и противоречий. И превращения волшебные с омоложением, и как филин сначала был пайнкой и ответственно-надежным, а потом как-то взбесновался и вразнос пошёл. Кстати, некрасиво получилось, одно за другое, и пришлось Сад наш немного, гм... того. Поручили мы его, в общем, чего уж тут. А ещё немного попортили и самую Вселенную, собственно говоря, совсем разнесли. Но это, смешно сказать, случайно так вышло, к тому же и починили уже, о чём говорить... Короче, переделали массу дел, важных, полезных и ещё более полезных, и финишная линия уже и без бинокля видна, как наяву.

Так что же, жизнь удалась? Почти, почти, одна только досадная мелочь ускользнула. Осознал я вдруг, что моё замечательное вступление, ну вот, где читателя берут под руку (или даже за руку) и ведут дальше, нет-нет, не под венец, а наоборот, к свету, к смыслу, и так далее, как Лев Николаевич когда-то поучал смущенного Антона Павловича, короче, вступление моё каким-то образом затерялось, ну, то есть забыл я про него в своей, как говорится, грудё дел и в суматохе явлений, да и как не забыть, тут голову свою не забыть бы (а с головой-то, сами знаете, надо бы поделикатнее). А вот теперь-то вспомнил, лучше поздно, чем никогда. А послушайте, откуда это введение вообще взялось. Ехал себе тихо-мирно в электричке в свои Жаворонки, а рядом какой-то старичок сидел. Болтливый, ужас просто, и то я, и сё я, и чуть не на мерседесе своем меня наш султан, мол, катал, и мороженым угощал, и даже займы предлагал дать, а потом как-то передумал, ну и всё в таком роде. Глупость? Ну безусловно! Но что интересно, в речах своих иногда прямо в точку попадал, вот прямо-таки про нашу историю. И вот так-то мы разговаривали, ну и вот, такое вступление образовалось. Видите, как бывает, мне ничего и делать не пришлось.

Вам до конца? Нет? Мне тоже нет, но однако ж прилично. И местечко вот у окошка, не всегда так повезёт. Обычно-то сколько народу набьётся, ну, да чего там, сами знаете... А как поговоришь-то, когда вот толпа, и в проходах стоят и чесноком в плечо дышат, то ли сейчас... Вы верно думаете себе, вот же пристал, старый чёрт, а я-то не из таких. Я, понимаете ли, раньше и статейками баловался, и со студентами занятия вёл, и звонили мне, чуть не каждый день – и из министерств, и из Президиума, и из Палаты, и из Администрации, а то и из Верхней канцелярии. И, как хотите верьте, все просят, умоляют прямо, узнать моих мнений об искусствах. Бывало, и сам, на какой презентации или во дворце – подойдет, спросит, как считаете, вот я, мол, выступал давеча, и там процитировал то-то и то-то, к месту ли, какое ваше мнение? Ну, вы же знаете, он не ко всякому так вот обращаться станет, вокруг-то все, поглядите, с каким они там образованием, да и шушеры, прямо сказать, хватает. Вот как. А сейчас пошли другие времена, уж не звонят, ну, да Бог с ними. Но вот чувствую ещё потребность, если понимаете, о чём я. Но вот так, чтобы со смыслом обсудить, не то, чтоб просто время убивать. А вам не кажется, что душно как-то, нет? А давайте-ка окошко мы немножко того... Давайте, давайте с вашей стороны. Что, не идёт? А как я отсюда поднажму? А вы ногой-то, ногой здесь упритесь... ничего, нога чистая... да что ж это... А вот, пошёл воздух – уф, хорошо теперь! Так о чем я? Вот вы объясните, ведь как это так получается, что ни о чём таком эдаком, о возвышенном, и о тонких всяких материях поговорить толком никак не дойдет. Почему так? А не с кем всё, не с кем! Людей нормальных, вот именно серьёзных, адекватных, не хватает, вот ведь беда в чем. Всё, понимаете, суета, ёрничание, всё мелочь и дрянь. А хочется иногда и воздуха свежего глотнуть. Иногда, впрочем, бывает. Попадётся вдруг где-нибудь, да хоть и в поезде-электричке, приятный человек – с портфелем, в очках, и всё при нем, ну там, пиджак, галстук, скромный, даже и

лысоват в меру, и в речах рассудителен и умерен, не пустобрёх, не скоропал, не радикал. И вот, только что разговоришься, только дойдёшь до главного, до сути, ну вы понимаете, как всё уже настроилось, так же, как и оркестр настраивается, чтоб, наконец, заиграть в полную силу и излить свою симфонию, а уж слышим, объявляют: «Жаворонки, следующая Дачная. Не забывайте вещи», и собеседник наш вскочит, засуетится, подхватит свой портфельчик, кулек с бутербродом начатым, и – адью! – на выход. И к черту всё, и оркестр весь настраивался понапрасну, увы, увы. И ничего-то не останется, лишь недосказанность, печаль глумливая и пустота в душе. Не сыграна симфония, не родился смысл. Вот ведь как. Театр взять, та ещё канитель: скука сплошная, или, простите, безобразие, а то и оба вместе. Огорчает, конечно. Что мы должны ждать от театра, вот вы знаете? А я скажу вам, мораль, одухотворенность, внутреннее очищение. Возьмет драматург зрителя за руку и поведет его к свету, к главным смыслам, и откроет притом ему нравственность настоящую, возвышенную. И полезно, и поучительно, ну, а иначе как же. А эти нынешние постановки – Сады ли, Грёзы ли, другая какая вещь. Там-то куда, простите, ведут. Я спрошу, где смыслы, где драма, характер где. Уж если, напротив, чего почитать доведётся, всё то же. Мало, прискорбно мало у нас литераторов серьёзных, вдумчивых. И главное, ну что за темы берут! Про жуков, про букашек каких-то мелких, а вдруг, верите ли, об инжирных плодах и садах рассуждать берутся, ну, что это, в самом деле. Вот, вы скажите, что за фантазия такая заставляет всякого читателя за зоолога. И что за профанация. Прямо хоть об стенку головой расшибиться, в самом деле. А польза-то, польза какая от всего этого, если задуматься. Ну решительно же никакой, ни науке, ни отечеству, ни молодежи нашей. Одно слово, никчёмность, вот это самое и есть. А вот вам и живой пример, вот ведь какими, с позволения сказать, историями смущают неокрепшие умы теперешние авторы. И не нужно, и не хочу никого принуждать слово моё брать на веру. Вот всё оно, сами и рассудите.

Да-да, и рассудим, вот именно. Это, сами видите, как введение задумывалось. Знаю, не вполне на месте, и даже совсем, а что делать. Столько уже чернил и бумаги извели, неужто всё заново. Нет, нет, пускай уж здесь и остается.

Рассказ-закольцовка, где история кусает свой хвост

Вот такая моя история, и сказочных эффектов, и трюков, и спектаклей было нам явлено в превеликом избытке, чем мы не преминули воспользоваться. А может, я опять всё перепутал, и вовсе не мы, а сказочные эффекты и элементы разгулялись и бессовестно использовали нас в своих целях, таинственных и необъяснимых. Но мы оказались ого-го и сказочно вполне уцелели, и руки и ноги у всех на месте, особенно же и голова, и чья-то заслуга в этом есть, должна быть просто, уж не моя ли, коварно поинтересуюсь я. Должен сказать, случившееся, от начала и до конца, оказалось в высшей степени и неожиданно, и странно, хоть и по сказочной шкале. Как бывалый Странник, удивляюсь я только в самом крайнем случае, но тут был озадачен. Удивлялся не я один, тоже и филину многие моменты показались необычными, а если сфокусировать как следует крашенный глаз, то и вовсе неправильными. В силу тогда неведомых мне причин как-то лично он воспринимал всё, а ведь это что, сказка, просто смех. Но филин, упрямое пугало, полагал по-другому. Решил, что он, верите ли, ответственный по этим самым вопросам.

– Станный вы человек! – так прямо сказал я ему. – И рассуждаете странно, и желания ваши странные. Странное не всегда к добру.

Знаете, когда и то, и сё идёт не по плану, это огорчает, и одно цепляет за другое, и вот уже становится слишком, и сделался филин нервически расстроен. В целях поправки нервов он осуществлял годами отточенные приёмы. Пучил глаз, что способствует концентрации внимания на Сейчас, также выворачивал голову до хруста в шейных позвонках, это помогает расслабить Superiorum partium: верхние конечности – собственно, крылья. Кстати, если кто полагает, что обладает крыльями, пусть и в возвышенном переносном смысле, попробуйте непременно. Вот прямо как сидите сейчас, так и крутите голову, крутите. Дополнительно филин фокусировался на внутреннем Я, и даже пытался силою мысли посылать удалённые сигналы и манипулировать с утерянными ухом. Чему это может способствовать, не поделился, не стал меня обременять. Да и правду сказать, пока моё ухо не оторвано, к чему мне эти заботы. Но дело не в этом... В чём же? А вот в чём. Как открылось нам во время вещего сна, всему есть и другая сторона. Об этом сейчас речь.

Я Странник, говорил уже, только, боюсь, вы не поняли. Нет, не из таких, что путешествуют по странам и городам, а просто специалист по странностям и необычным явлениям, их тут так и называют, Странники. Однако, об этом мне стало ясно не ранее, чем погрузился я в сказку (ее здесь называют профильной командировкой) уже порядочно. Совет по Поручениям, в лице, представьте себе, профессора Филина, персонального моего куратора в настоящей командировке, рекомендовал повышение квалификации в целях успешного окончания заданной миссии. Успешный конец подразумевает безопасное и счастливое её, командировки, завершение. С выживанием командированного и с минимальными последствиями для окружающей среды. Перед этим в Совете меня оценили: тип личности, навыки, склонности. У меня обнаружили натуральную предрасположенность к внутреннему спокойствию и равновесию в странных и необычных условиях – вот именно таких, которые эти спокойствие и равновесие у среднего человека обыкновенно расшатывают. Так я был определен на курсы Странников. Когда началось это, сказать трудно. Сам я склоняюсь к тому, что в тот момент, когда у меня в руках очутился Калейдоскоп. Конечно, никаким калейдоскопом он не был, а был специальным аппаратом, инвертором-манипулятором, для манипуляций пространством, временем и сознанием. Кто-то назовет Калейдоскоп магическим прибором – название дело вкуса, хотя магия не имеет никакого отношения к внедрённым в прибор технологиям и уникальным инженерным решениям, при всём уважении к магии как таковой. Сам прибор был передан мне лично в руки представителем Инспекции во время моего приключения на рынке. Инспектор проверил, как сам аппарат отнесётся к потенциальному обладателю, полагалось, от этого многое зависело. Примерно в это время для меня открыли параллельный поток событий, в котором время текло по своим законам, согласно установкам прибора. В другом же, обычном потоке времени, я был просто Путником, и всё происходило так, как вы уже знаете. Я прошёл свой курс обучения и получил диплом Странника третьей, высшей, сказочной категории. Мне дали зелёный свет на продолжение командировки в новом статусе. По её окончании я обязывался вернуть аппарат, а представитель Инспекции проинформировал о моей личной ответственности за целостность и исправность оборудования по возвращении. Я также соглашался на процедуру неполного (без разрушения личности) уничтожения из моей памяти чувствительной информации, связанной с командировкой. Вот такая получается история за занавеской. Нет, совсем не шучу, напротив, серьёзен, как мертвец. Имеем здесь дело с весёлой сказкой, и всякое веселье, как понимаете, исключается.

Странность недоосмысленных реалий остается временами единственной реальной поддержкой, на которую можно полагаться, что мосту, что запутавшемуся читателю, как мост, нуждающемуся в каких-то опорах. Из временного потока,

учреждённого для Странника третьей сказочной категории, к Здесь и Сейчас, не только приемлемым, но и совершенно необходимым, а также чрезвычайно полезным в любом жанре, в сказке особенно, этот воображаемый мост тотчас же и перекидывается. И туда, в эти Здесь и эти Сейчас, на берега таинственного Залива, на нашу нескончаемую и всё ещё непонятую до конца дорогу Упоительного сладостолубия, туда, уже навсегда теперь, переместимся и мы. На дороге, нагретую яростным солнцем в тот южно-цикадский день, который так опрометчиво и безрассудно обнаружил я в необыкновенном аппарате Калейдоскопе, попавшем мне в руки, по-видимому, абсолютно случайно.

Нет, не так. Не могу настаивать на абсолютно случайной природе цепи событий, вполне могло случиться, что Тот день настиг меня вполне расчетливо, не давая места шансу и случаю. И застал он меня врасплох – ровно так и тогда, когда это должно было случиться по его холодному расчету, профессионально исполненной партией невозмутимого дельца с рыбьей кровью, без всякой тени эмоций и сострадания. И позабавился тогда он на славу – и со мною, и с моею личной свободой, и со всей беззаботной стохастической природой воли вещей, и поразил всех и вся желчным жалом детерминизма, безжалостным и жестоким. И вот уже долгие-долгие годы, каждый раз, когда заводят ключом пружину, мой закольцованный сам в себе день сурка, и южный, и летний, и солнечный, тотчас возвращается ко мне, со всеми его неожиданными находками, открытиями, восторгами и разочарованиями. Но вот не знаю я, что будет и не будет чего, когда вдруг случится, что завод кончен и не заведена пружина, ни в этот день, ни в другой. А пока же...

И опять, и снова был день. И шагали мы с моей подругой по раскалённой дороге, и поглядывали на незнакомый фруктовый сад, в котором копошилась пожилая пара. И не имели понятия мы – кто они, зачем, и что нам до них, и было на душе легко и беззаботно. О, du lieber Augustin, Alles ist hin, звучала немецкая песенка, прилетевшая не то из шарманки, не то из старого фильма, непонятно откуда. Мы полагали, что движемся навстречу счастью, нашему счастью, о чём она и пела, беспечная песенка. Припекало солнце, и над асфальтом покачивался горячий воздух. Упоительное сладостолубие и эта дорога – пока ты с ней, она не кончается, и ничто не кончается. А может, дорога это твоя жизнь, которая оканчивается дорогой без конца. Отстранишься от жизни и суеты, отстранишься ли от этой дороги. Кто сказал, откуда этот голос? Песнь цикад, солнце в голову и бриз с Залива навевали странные чудные грёзы...

Рябь завершающегося сюжета заколыхала застывший воздух картины. Обнаружились и стали всем очевидны и сама сцена, и прозрачный занавес перед ней. И всё уже кажется таким отвлечённым, таким далёким – и несколько театральным. И вы догадываетесь, то, что принималось за проявление самой жизни в её кипении и борьбе, на самом деле малосущественно и второстепенно. Важно не увлекаться и видеть вещи в своем истинном свете. Всё проходит и уходит, остается дорога. И по дороге шёл я со своею спутницей. Мы уходили, исчезая в дальней дали, и всё смотрели и провожали взглядом нас, шагающих по дороге в эту дальнюю даль, и видели наши удаляющиеся затылки – такие знакомые, такие узнаваемые. Игра переводила нас во всё более отдаленные наблюдательные круги, и потерявшись сама в деталях, теряла и нас. Мы шли бесконечно, от времени и дороги отвердели наши лица. В грёзах нескончаемого дня проводили мы жизнь свою.

Сон, фантазия, данность. Чудесный сад парит над водой. Он цветёт синим, пурпурным и другими цветами, чудными и невиданными, оттенками, о которых странно

помыслить, пока не узришь воочию. Цветение возносится вверх и колыхается, как на ветру, в небесной вышине, оно волнуется и переливается, словно Полярное сияние. У входа в сад торжественные мраморные стелы-obelisks, а напротив скульптурная группа, женщина рядом с деревом. Белый мрамор на солнце очень бел. Женщина из мрамора простирает руку, величавым жестом указуя на древесный плод, символ и вечности, и юности. Под обелисками юные Хранители сада, и девушка в светлом платье держит руку избранника. Они приветствуют проходящих, улыбаются им и машут рукой, а эти проходящие мы и есть. И опять, и снова проходим мы мимо сада дорогой упоительного сладостолубия. О, тайны мироздания! Чудны дела твои. Данность, фантазия, сон...

Рассказ о переменах. Птички, рыбки, русалки, капитаны, феи, простофили и прочие

– И что же... и потом ничего? Я очень всё-таки переживала, когда ураган и всё такое, и страшно всё было. И голова, главное – просто ужас!

– Конечно. Ну, ведь как-то прошло и это. Не сразу, но в конце концов вещи нашли свои места. Птички погрузились в Залива воды и нашли, что там им даже удобнее, рыбки же осели по деревьям и зачирикали, и засвирикали, и завели свои песни и трели. Расположились на деревьях, на ветвях и русалки, но петь не стали.

– Вот не знала, что русалки поют! А почему же в этот раз они не стали петь?

– Ох, как бы сказать... Видите, рыбаки были такие все невесёлые, и с финансами у всех было просто печаль, ну понимаете. Дела не шли как-то в последнее время, в упадке был промысел. И удача что-то не смотрела в их сторону. Может, занята чем была, может, другое что. Удача бывает и капризна, как весь женский род. Да и главное! Уж очень угнетены все были из-за недавних шторма и ветра с градом. Ну, и в связи с переустройством промысла, тоже, знаете, забота. Так вот, русалки. Песни русалок, и жалостные, и тоскливые, могут-таки сильно подействовать. Бывало, и в воду бросались, бывало, и рассудка лишались. Вот, русалки посоветовались и постановили повременить пока с пением, не тревожить рыбаков и не раскачивать лодку, или как там у них в морских терминах. Рассудили, что время покамест трудное, беспокойное. Да и мэр прямо объявил, что как узнает, если кто пел рыбакам, то не посмотрит, что русалка, чаровница и древний обычай, а враз велит пороть розгами. Так что, русалки положили проявить сознательность и сделать правильный выбор, а то кто его знает, как всё обернется. Ну и что ж, можно и подождать, потом споют, если надо будет. Так что, рыбаки погрустили, погоревали, а спустя день-другой как-то поуспокоились, взбодрились, разгладили усы, у кого были, и забросили в Залив свои неводы ловить птичек, а те и не возражали. Птички нынче и чирикнуть не могут, вы же понимаете, в воде они, птички.

– Да! теперь вот птичек ловят. Как-то всё чудно переменялось у нас здесь. Странно, правда? Видимо, всё к лучшему.

– Птички полезнее будут, рыбаки полагают, да и в газетах так пишут. С чешуей, к слову, не возиться, запаха рыбьего нет, покупателю нравится, вот так и попривыкли. Возят теперь рыбаки свой улов на продажу и радуются добытому барышу, и жизнь малопомалу налаживается. И собираются по четвергам в Тауне, в баре Поющая Кровать, и покуривают капитанские трубки, прямые и короткие, и карты свои держат поближе к жилету, а заходят всегда с бубновой масти, чтоб не спугнуть счастья в игре. И поднимают высокие кружки с пенистым элем, и, возвышая голос, обсуждают промысел и нововведения, и цены на соль и на колотый лед в бочках. И костерят бесчестных поставщиков и алчных перекупщиков, и воспевают свой небывалый улов и

благословенную удачу, да и кто разберет, о чём они там. Обо всём понемногу толкуют капитаны весёлыми вечерами. Кто делает себе доброе дело и женится, и обсуждает со славными людьми эту распрекрасную затею, а славные люди бычатыся, сопят и настойчиво отсоветывают это самое благое начинание, и что ты с таким народом поделаешь, и какое тут будет весь вечер настроение. Кто божится, что видел в ночном небе яркие вспышки, не иначе как чёрная дыра, что забралась в самую середину нашей галактики, зажевала и всё глотаёт и глотаёт очередную свою жертву, и уже вот-вот доберётся и до нас с вами, и даже эль сегодня с каким-то тревожащим привкусом. Кто продаёт своего летучего голландца, что легко добежит за два часа от верха Залива до самого океана исключительно на своих гроте и стакселе, и безо всякой даже потребности заводить мотор, который тоже, представьте, в самой замечательной кондиции. Даже если кто ни жениться не желает, ни баркаса не имеет, и в небе ничего отродясь не видал по причине близорукости врождённой, и он здесь, и счастлив сам собою, и так-то рад видеть всех, что кружкой своей размахался не на шутку, и говорит, лепечет, болтает без умолку, даже если бедолагу некому и выслушать, кроме разве вон того старинного пса, что поджидает хозяина у двери, отчего-то с внутренней её стороны. Весело, шумно в Креветке по четвергам, и всяк в этот день понимает, что Креветка потому весела, что она и есть самое главное место в Тауне, а то и во всём графстве, хотя мэр наш, конечно, совершенно другого мнения по этому вопросу. Именно здесь все и речисты, и смешливы, и перед другими не прочь покрасоваться. Ну какой же рыбак, позволю спросить, обойдется без историй, небылиц и рыбацких баек, а уж если таковой вдруг отыщется, гоните в шею, плюйте ему прямо в глаза, не рыбак он никакой, а так, ничтожная подделка и вообще, надо быть, дрянь человек. Рыбак, это, скажу вам, легенда, ловец удачи и певец удачи, вот такой он и есть настоящий рыбак.

– А вы верно говорите, все мы зависим от того, куда колесо фортуны повернется. Если даже просто и по грибы, много ли сберёшь, если везения нет. А уж то рыбаки.

– О грибах не скажу, а в море без удачи и везения никак нельзя. Очень капитаны наши их почитают, о них все разговоры. Да и, к слову сказать, саму Фею Удачи нет-нет и замечают в баре в какой-нибудь, скажем, четверг. Вот, посмотрите-ка, сама своей персоной, в платье зелёного шёлка и в тончайшем прозрачном шёлковом же платке поверх головы и плеч, на манер испанской мантильи, а ещё на ней, гляньте, старинные бусы из жемчуга, кораллов и серебряных монет. Вот так-то запросто за столом, на таком же точно, как у всех, простом стуле морёного дуба, и сидит так натурально, как будто бы всё в порядке вещей, и ничего странного в этом не находят, не стоять же ей, в самом деле, вечер только начался. А когда уж она здесь, народу набирается просто тьма, а как иначе, когда к игре пожаловала Госпожа Удача. И всегда она вся блещет и чуть мерцает, и притом от глаз исходит холодный огонь. Потому-то тёмные очки, чтоб горожан не слепило, особенно когда сдают карту. А только в каком-нибудь редком случае вдруг на миг опустит она очки и чуть улыбнется. Чьи карты она увидела, тот и забирает себе целый кон, счастливец. И всё хорошо, только оставляли б капитаны всё ж поменьше в Тауне по четвергам.

– Я вижу, всем опять хорошо и весело, так получается?

– Ну, как всем... Взять соседа моего, простофилю Джеймса, никто его иначе как Джимми не величает, невелика птичка. Рыбаки заходят в Креветку новостями обменяться, дела обсудить, и всё такое, а Джим повадился с ними. Падок он до баек рыбацких, а у каждого счастливого обладателя сизого носа таких историй упряталось в рукаве ох, немало. И верит простая душа каждому слову, аж, гляньте-ка, рот приоткрыл, словно бы перед ним не развесёлый Том с своей акульей усмешкой накосяк и вечной байкой про гигантскую камбалу, которую, правду сказать, никому, кроме нашего простофили, уж и предлагать-то неловко. Вы, положим, сами в Креветку не заглядывали

и истории этой не знаете, а дело давнее. Случилась она, когда Том ещё своих волос не потерял. Поймать будто он камбалу поймал, а только она оказалась не совсем живая, сильно снулая, практически дохлая, хотя и правда больших размеров, ну очень велика, просто чудовище, морской монстр. В свой баркас Том её уместить не смог, так и тащил по воде. А что самое интересное, и здесь Том совсем понижает голос, он сохранил её голову в засушенном виде. Конечно, засушенная она ж таки не такая гигантская, и даже, откровенно говоря, совсем небольшая. Том её завертывал, бывало, в тряпицу, и в нагрудный карман, чтоб изымать ловчее, как разговор зайдет. И вот ещё что: как-то раз эта голова вдруг посмотрела на Тома со значением и изрекла сочным басом «Вот так так!», однако к чему это было, Том не понял, видать, забегался или просто ноги устали. Вы знаете, у нас в Креветке не шантрапа какая, народ в основном тертый, опытный, бывалый. А вот как взялись про голову обсуждать, ой-ой, срам и сказать, как наши капитаны судили и рядили, и каковы были их толкования, и куда оказалось им всем до простой камбалы необразованной.

– Да, правда странно. В самом деле, и что там у неё на уме было?

– То-то и оно, что всё, что было, уже высохло давно, и сама голова, и ум её, если он там и был когда-то. Я так скажу вам: мне вот ни голова, ни сама камбала ничего такого не говорили. Да и сам Сатана тут не поймет и не рассудит. А потом как-то вышло, что голова задевалась куда-то за давностью, и уж с тех пор точно рта своего не открывала. Но всё ж, как ни огорчительна пропажа этой говорящей головы, никак не умаляет она торжества Тома, и нимало не огорчает нашего простофилю. Поглядите, до каких сиятельных вершин вознесется в чьих-то глазах рассказ о подтухшей рыбине, в восприятии кого другого история вполне себе вздорная, надоевшая и полная скучных деталей. Впрочем, не будем забывать, что и сам Джимми не какой-то там гвоздь ржавый. Хорош собой и удачлив, как счастливая подкова. И сам не сегодня-завтра заделается настоящим капитаном, как о себе понимает. И тянется простофиля к картам, не из-за денег, просто, чтоб со всеми. Да вот, закавыка: не садятся с ним никак, а всё говорят ему, ты погоди, Джимми, лучше принеси-ка тут ещё стул, вон кому-то, мол, не хватает, и в таком роде. А главное, как зайдёт разговор, говорят о нём снисходительно, и промежду прочим, дескать, хороший он малый, Джимми, да только это, молод ещё. Годы-то идут, и я думаю, а так ли он юн, наш Джим. Конечно, всё такое не может не огорчать, а особенно в четверг, радостный день. Сами видите, в Тауне всё веселее становится, определенно веселей.

– И всё уже закончилось, и стало совсем как прежде?

– Да-да, ну почти. И закончилось всё, и продолжается всё. По кругу как-то всё, как и жизнь наша. По кругу ходим, по кругу живем... Вот и цикады в этом году опять неистовствуют.

– И ничего не пропало, и не о чем жалеть?

– Ну, как же, не без того. Филин наш, филин с крашенным глазом, канул вовсе. И не видал уж никто его распростертых крыл и не слышал его смеха, и резкого, и заразительного. И куда он, злодей, по лихости своей залететь мог. Не за океан же подался, в свой Восток, в самом деле. А жаловался, горемычный, на тоску и ностальгию, и про зов родного края говорил. И вот ещё что, слышал и такое, что занесло его вовсе на Дикий Запад разбойничать вдоль железных дорог. Поговаривали тоже, уж не знаю как и верить, но вроде разжился он и лошадьё, и уздечкой, и друзья завелись у него самые что ни на есть лихие, и Смит, и Вессон, оба с ним. Так что, если вам он по срочности понадобится, ищите меж Западом и Востоком, не ошибетесь. А как по мне, жаль, не вернуть филина. Впрочем, такой же точно, только новый, выставлен сейчас в Хоумдепоте, отдел Садовый инвентарь, по пятьдесят долларов за штуку – и, кстати сказать, вполне разумная инвестиция, ведь как плохо без пугала, если с садом.

– Но отчего, скажите мне, почему он так смеялся не по-доброму? Просто страх наводил на всех. Он что же, оказался совсем уж злыдень какой-то или колдун? Да, наверное так! Как ужасно. А он что же, всегда был таким злодеем?

– Ну, что значит колдун, злодей... И он был маленький, и ходил, как все, в детский сад, и в музыкальных утренниках участвовал, и водил с детишками хоровод в гольфиках своих белых. И носочек тянул, и уточкой ходил, и зайчиком прыгал, и хвалили его, и грамоты дарили. Казалось, и удачливый, и смелый, а обернулось по-другому. И в какой-то момент прислонился не к той силе, и захватила она, и подчинила себе.

– Да, как я это внутри чувствую! Он уже был надломлен. И злая сила его одолела, и поломала крылья, и не выпустит больше обратно.

– Как-то так, наверное. Впрочем, этикие подробности и детали скрыты во мраке и мне неведомы. Может, вернётся ещё! Будет сидеть у вас в саду на дереве, обнимать там русалок и нескромничать, распуская руки. И голосить разгульные песни, и плакать, и терзаться, и стонать, и вскрикивать, и ухать, пугая вас по ночам.

– Ах нет-нет, лучше не надо!

– Вот и я так думаю.

Рассказ о Finale

– Сэр! всё в порядке, сэр? Могу вас спросить, отыскали или нет вы тот день? Великолепно, сэр. Что за день был это, спрашиваете. Не могу сказать, сэр; обычный пожалуй себе день, жаркий впрочем. Сэр?

– А? Что, простите?

– Аппарат, Сэр. Подлежит перекалибровке в лаборатории, пожалуйста его назад, будьте любезны... Ай-ай! Сэр, извольте убедиться, прибор тонкой настройки, а в песке, как с корриды. Обращаю ваше внимание, сэр: на корпусе трещины, здесь и ещё здесь. Я сожалею, сэр. Это капитальный ремонт с заменой труб и отселением. Самому неприятно, но я должен буду подать рапорт в Инспекцию. Получается пятьдесят долларов, сэр.

Он смотрел достаточно твердо, но не в глаза, а куда-то в область уха, словно разглядывая мою несуществующую пиратскую серьгу. Было видно, что оба момента живо его беспокоили, и пострадавший калейдоскоп, его треснутый, покрытый песком корпус с прилепившимися волосками то ли от косички матадора, то ли от бычьей шерсти, равно как и пятьдесят долларов, причитающиеся отчего-то именно ему в счет немислимого капитального ремонта с непременно и обязательным отселением всех, то ли жильцов таинственного подъезда, то ли жителей всего города, то ли населения этой планеты. «Сэр? Вам нужна квитанция, сэр?», доносилось до ушей, словно из подземелья. Я пребывал в растревоженности и смятении, и в моей голове никак не складывалось. Господь наш Создатель, какой калейдоскоп, какая квитанция. При чём они здесь, для чего... И тот день, к чему он мне, и для чего там я? Исполнять ли свою роль, непонятную мне самому, забавляя великое мироздание, щекоча его нервы? И почему меня туда, в тот день, возвратят снова, и отчего я опять всё позабуду... Так что я... Нужна ли квитанция?

Да-да, что-то со мной не так, и отчего-то я всё забываю, памяти не стало никакой, вот в чем беда. А вот это секрет – самый секретный секрет, и нельзя никому об этом, иначе конец, всему конец. Так вот этот пират, он какой пират, который рыночный, или который инспектор? И что же теперь? Теперь... Говорили вам, сэр, что Весёлая сказка. Что в тот день попадёте, и что вернуться надо, ведь говорили же. Что же вы, сэр? Возвращайся, возвращайся, закричал мой вроде-бы-пират не своим голосом, странным,

фальшивым, срывающимся. Ах, нет же, нет, это женский голос, это песенное многоголосье – так поют русалки в Заливе. Боже мой, это их зов. Они заывают, заманивают меня в свой зачарованный омут, откуда нет возврата никому, никогда. Этот шум, эти звуки странные, тоскливые, здесь и мольба, и стон, и всплеск, и хрип, и гул, и рев, и эти переливы душераздирающие, какая тоска и мука. Нет, это положительно невозможно, не уберут это сей же час, тут и сойду я с ума. А что делать, что делать. Если, напротив, суждено утонуть, то и с этим лучше не тянуть. Но вдруг, параллельно русалкам, грянул finale некоей симфонии, волнующий и прекрасный. Никогда раньше не его слышал, но, удивительным образом, резонировал с ним, будто был давно уже знаком. И симфония стала отодвигаться, и придвигаться опять, и то же происходило и с ужасным хором русалок. По-видимому, мне надо было сделать какой-то выбор, но вот отчего-то мне не объяснили, какой же, собственно, из двух нужен, а самому решить было совершенно невозможно, ведь я никогда ещё прежде не делал ничего в таком роде, ну вот так, чтобы совсем сам.

Пиноккио... Пиноккио? Помните, была такая деревянная кукла-марионетка, выточенная из чурбака. Был вначале обычный простой чурбачок, дубовый притом, ну так что же, ведь с чего-то надо начинать, правда же. А Пиноккио, представьте, возжелал стать настоящим мальчиком, и хотел этого больше всего на свете, конечно, когда не хотел чего-то другого. И ему даже одна волшебная Голубая фея обещала с этим помочь, однако там были сложности, всякие интриги, куда же без них, и ещё были нехорошие всякие, и попросту сказать, тёмные личности, Кот и Лисица, которые были как бы друзья, но только вначале, а потом совсем уже нет, так, впрочем, часто бывает. Но Пиноккио, вопреки всему, таки стал мальчиком, настоящим мальчиком, как хотел, только в конце, конечно, а до этого ему доставалось, и даже очень. Вы всё это прекрасно помните и без меня, вне всяких сомнений. Только вы не знаете, что Пиноккио и есть я, только это я вам по секрету, ведь дело было довольно давно. А может, это вообще такой общий тренд. У иных Винни-Пухов в голове опилки, а кому повезло, у них голова цельная, без каких-то там опилок. Вот, когда буду уже большой, тогда всё буду делать сам – ну, конечно же будешь, дурачок. А сейчас с тобой мы, и беспокоиться тебе ни о чем не нужно. И вообще, зачем нервничать, друзья ведь всегда помогут, если они настоящие друзья. И пока они друзья, конечно. Всё как бы шло к тому, что вот-вот, и помогут мне с решением, сделают за меня непонятную работу. Я растирал свой деревянно-занемевший лоб и затылок и вдруг определился незаметно и легко: симфония, и думать нечего.

Прошедший день был жарким. Вечер вступал уже в свои права и давал знать о своём приходе, приглушив жару, удлинив тени, упоив воздух прохладой и ароматами трав, острее ощущающимися в вечернем воздухе. Мои руки дрожали, и ни в чем я не был уверен. Как хорошо, как метко я судил про всех, пока он не пришёл. Вечер. Да, вероятно, это он и есть, мой вечер. Вот так он и приходит, почему нет. И это единственное, что получилось тогда осознать. А день подходил к концу. Длинный, бесконечный, тот самый, и прочее. Он угасал, умирал, до его кончины оставались жалкие минуты, и старик торопился. Он заворачивал инструменты, трубки и колокольцы в холсты, укладывая всё в плоский ящик со смазанной казёнщиной штампа 'Инсп АХ-12' и наплечной лямкой. И старик он был как старик, и примечательного в нем было, за исключением чёрной серьги, ну решительно ничего. Что же, так он и уйдет совсем, а как же я? Я путался, сомневался, и никак не мог понять, кто же он есть, и что он явил мне на рынке под видом странного разговора. А может, я был неким скучным винтиком, который он подобрал и приладил на своё место. Вот старик, говорила мальчику какая-то тётка на улице – давно, давно это было. Будешь баловаться, не слушать маму, старик возьмет тебя в свой мешок. И мама отчего-то кивала головой,

а мальчик хоть и не верил тётке, старика с мешком опасался всерьёз и старался не смотреть в ту сторону, чтоб старик его как-нибудь не заметил. Вечером мальчик проверял, не появился ли старик – может он стоит тихонько под окном, где его никто не видит. Но его всё не было. Шли дни, недели, старик не появлялся. Мальчик вырос и про старика позабыл. Наверно, и правильно, что забыл, а теперь вдруг вспомнилось. Не могло быть, чтоб старик вернулся сегодня, зачем ему. Не поздно ли теперь.

Старик завершил сборы и опустился на лавку, чтобы управиться с крупным инжиром. Он сидел тихо и глядел на закат. В луче низкого красного солнца одинокая капля вспыхнула на вечно небритом пиратском подбородке. Капля, бесценная капля колдовского эликсира явилась мне средоточием реальности. Что же потерял я, и капля ли ответит за утрату, да и что может она одна. Мыслимо ли теперь вернуть всё назад – и юг, и звёзды, и молодость, и желанья, и всё то, что могло бы прекрасно сбыться в судьбе. Это было, и об этом хочу помнить и говорить. Всё суетное преходяще, но влажная капля вечно жива. Я фокусировался на капле и обретал покой. Занавес уже падал, и величественный finale набирал силу. Это было моё возвращение.

Рассказ о разговорах в беседке, о луне и забвении

– Вот, моя история. Заметьте, не выдумка. Вы, верно, и сами знаете.

– Да! однако, забавник вы... Право, не знаю, что сказать.

– А вы не говорите.

Она улыбалась – рассеянно, грустно и слегка стеснённо. Есть в мире грусть, есть печаль, но есть и надежда. Возможно ли? Она не помнила – ни Путников, ни Сада, ни эликсира, решительно ничего. И история эта для неё не значит ничего, просто чужая история. Что же, что же. Видимо, так тому и должно быть.

– Разве эликсир? Вы, случаем, не могли бы достать для меня сколько-то? Хоть бы и каплю.

– Вы всерьёз? Господь всемогущий, на что вам?

– Нет? Даже каплю?

– Да как! Помилуйте, ну откуда взять? И вообще, может, это и шутка всё, мираж и обман.

– Как шутка! И тогда какой вообще смысл во всём?..

– И дался всем смысл! Случилось. И ничей высокий смысл не уберег. Ну, вы понимаете.

– Да-да. То есть нет. Ах, не знаю... Что-то, однако, зябко становится. К чаю, что ли, подавать уже?

– Конечно. Чай всегда хорошо. У меня, кстати, джем – захватил с местного рынка пару баночек. Вот, прошу. Много полезней эликсира юности, так называемого, конечно же. Там ещё этикетки, вы не обращайтесь внимания. Они вообще абстрактные.

Вечер был мягкий, и самовар подали в беседку. К чаю были и гости, театральный критик из первопрестольной, восходящая звезда околосценической богемы. Его намеренно неброский импортный пиджак глянул на нас с холодной отстраненностью, ненавязчиво напоминая о столичном статусе обладателя. Порядочным снобом пиджак оказался. Всё сидела с гостем хозяйка дачи и рассказывала о чём-то долго, и взглядывала вопросительно. Гость наклонялся и покачивал, и поматывал головой, то ли соглашаясь, то ли в неверии, и совершенно было непонятно, о чём у них речь. При этом критик рассеянно, но благосклонно озирался. И сад, и чайная беседка, всё здесь успокаивало и настраивало его на необычно благодушный лад. Он задумчиво накладывал в чай варенье и болтал ложечкой. Впрочем, помимо изысканных манер и прочего столичного лоска, критик был обладателем строгого ума и характера, и в определенных вопросах умел

быть принципиальным. Черта эта, безусловно, была предметом его скромной гордости – подобно авторучке, она как будто высывалась из нагрудного кармана его пиджака.

Солнце уже зашло совсем, и свечи зажглись. Хозяйка теперь обучала гостя пасьянсу, без особого, впрочем, толку. То ли его интерес нынче витал в иных стратах, то ли рассеян он был выше обыкновенности и больше смотрел на руки, а на карты, напротив, как-то не смотрел, и из-за эдакой-то его рассеянности сделалась хозяйка несколько раздосадована. Сам я, надо сказать, до пасьянсов не большой любитель, только был и ещё с нами некто, проявлявший живой интерес к компании ли нашей, а может, к хозяйкиному пасьянсу. Луна, бледная и загадочная, прекрасная луна, она в этот день совсем близко нависла над самой беседкой, и чуть не чай пила с нами вместе. И так она тактично и деликатно участвовала в беседе, притом что нельзя сказать, чтоб кто-то из нас был с ней как-то особенно близко знаком, и мы все даже удивлялись. Никто из нас, – ни хозяйка дачи, ни критик, ни сам я – никто не замечал прежде со стороны луны такого вот расположения. И висела над плечом моим луна, и всё не уходила, только струила на беседку волшебный свой свет и изменяла свое лицо, и смотрела, вглядываясь в нашу компанию с особенным каким-то значением, на что-то надеясь, или, может, ожидая чего-то. Лицо её и бледнело, и мерцало, и переливалось, и было оно всё так же бледно, грустно и так же прекрасно, как и два года, и двадцать, и двадцать тысяч лет назад. Полагаю, что так же неотразима была она и гораздо ранее, в дни своей молодости, далёкие и блистательные, да беда в том, что в те давние времена нас с вами на свете не было, а кто лучше нас сможет оценить её красоту. Отчего так на нас смотрела луна, о чем печалилась? Может быть, луна сожалела о том, что безвозвратно проходит время, и ничего не вернуть – что ушло, что было, дарило надежды. Наверно, на месте луны, я бы, скорее всего, сожалел именно об этом, но кто я, и как могу быть на месте луны, на её высоком небесном месте. А может, луна грустила о другом, – что у каждого сада своя тайна, свой взлет, свое забвение, о том, что каждый сад это вход куда-то, какое-то начало или чей-то конец, чьё-то благословение или судьба. Потеря, любовь, грусть, дружба, предательство, нескончаемое жертвоприношение. На своем веку повидала луна ночи и над Эдемовыми садами, и над Босфором, и ещё Бог знает над чем. В силу пережитого, видимо, были какие-то у неё основания на что-то рассчитывать и полагать о чем-то. Но на что, о чем, непонятно.

И действительно, чего от нас ожидать. Были мы пока ещё молоды, веселы и довольны, а также весьма оживлены – каждый, конечно, по-своему. И достаточно беспечно проводили мы этот вечер, а потом заспорили по вздорному поводу. А обсуждали как раз новую постановку под названием то ли Грёзы, то ли Сады, или что-то в этом роде, причем хозяйка больше веселилась, а я был сдержан. Но разгорячился чересчур критик, и был грозен, и дёргал с раздражением за узел галстука, при этом с азартом двигая другой рукою в доказательство исключительного превосходства своего мнения и безупречного хода своей мысли. И так-то замечательно в этом всём преуспел, что чай его за малым не был перевернут, а суждения его были таковы... да, впрочем, уж все знают наших критиков, не правда ли. Через короткое время спор исчерпал свой повод и надоел. Пили чай и просто болтали, о чём? о пустом, как обыкновенно. Так вечер ушёл. И прошёл другой день, а дальше, верите, и год целый. А потом что, а всё ничего, и после никто уж и не вспомнит без досады ни о Саде, ни об эликсире, ни об игре, ни о дороге, ни о высоких смыслах и целях, и ни о чём таком эдаком. Всё утонет в забвении. Занятость наша, и ограниченность, и лень крутят нами и движут нас, и мы, верите ли, позволяем им. Ничему не удивляемся, ни о чём не вспоминаем, никогда, никогда. Как же так, спросите вы. Кто-нибудь, кто-то же должен вспомнить. Критик наш разве? Здесь, однако, выйдет закавыка, и вот какая: он нынче откомандирован – переместился в музыкальную шкатулку и там как-то слегка заплутал. Причём, зная, что левая нога его

сильнее, он старался как раз забирать налево, хитроумно избегая, таким образом, петляния на правую сторону. Шкатулка была не глупа, и никак в этом не возражала. Таким образом двигается он пока в аккурат против часовой стрелки. А ещё обзавелся он деревянной головою, чтоб не отстать от остальных, к тому же в местных условиях с деревянной головой всё ж таки надёжнее, так объяснила шкатулка. Что же до предмета его профессии, по этой части он пока поостыл, не горит как бывало. Но не сказать, что все его таланты угасли всеу, и марширует, кстати, не хуже прочих. Вот только, говорят, руками машет уж чересчур. А может, наговаривают. Что хотите, люди есть люди.

И что же, вот так всё и закончилось?

Именно так обязательно спросит кто-то, когда наступит время эпилога и возникнет вот эта пауза. Вовсе нет, с чего вы взяли. Совсем не закончилось, напротив, всё продолжается и будет продолжаться. Конечно, не обязательно вот так, даже почти наверное не так, а совсем-совсем по-другому – а как? Не знаю. Ну вот, самое честное слово, не знаю. А вы знаете? Вот видите, и вы не знаете. Ну, да это ничего, ничего. Давайте-ка, перевернём уже эту страницу, не век же нам на ней жить. А лучше мы посмотрим вокруг, поразмышляем. Смотрите-ка, опять у нас вечер, ну, почти что вечер. И снова солнце примеряется нырнуть в Залив и начать уже свой заплыв, который продолжится до самого утра. Это очень долго, такой заплыв, не всем он под силу, а солнце совершает его ежедневно. А вернее, еженощно, что, конечно, впечатляет ещё более. Хорошо, когда бы ясная погода. Но даже если погода не очень, солнце всё одно – ныряет, плывёт, выныривает, воспаряет. А вот, гляньте, уж и нет солнца, совсем ушло, пока мы болтали, и уже стал виден лунный лик, бледный и загадочный. На кого луна смотрит, на кого указывает взглядом. На вас? Ну конечно, она вас заметила, как вас не заметить. Луна вообще всё и всех замечает, такая она. А звёзды разгораются всё ярче, а ночь всё темнее. Видите, там три из них вытянулись в линию, это пояс Ориона – а кто-то скажет, это, э-э... Калейдоскоп. Да-да, тот самый, мы слегка, гм, немного того. Так, в процессе научного опыта, конечно же. Тот самый, который надо в лаборатории калибровать и настраивать, и вообще починять, как кто-то уже здесь сказал или потом только скажет. А вон кто-то там огромный, с серьгой и пиратским глазом смотрит на вас строго и головой качает, будто бы вас узнал и пеняет вам за, гм, калейдоскоп, хотя, по-справедливости, вы тут как бы и ни при чем. Это, как вы догадались, наш пират, и он всё, правильно, инспектирует – работа у него такая. А насчет вас, он, конечно, ошибся. Кстати, пират этот, который инспектор, он не из звёзд вовсе сделан. Звёзды-то пошиты из серебристого звёздного материала и подвешены в небе на крючках. Они настоящие, а он, видите ли, придуманный. Поэтому он тает и исчезает – улетает, улетает, и совсем уже улетел. По вас вижу, намаялись вы сегодня. Как солнцу, нырнувшему в Залив, вам тоже пора бы уже покинуть, завершить этот день. Пока вы на луну всё глядели, такую яркую, такую прекрасную, глаза ваши как-то покраснели, притомились, и вы тоже вроде как улетаете, и всё у вас исчезает. Останется дорога, уготовленная судьбой ли, сном ли вашим, и много чего ещё. И учёный филин, и Лукоморье, и русалки на ветвях.